Раиса Коршунова

ЗАЦВЕТУТ ЕЩЁ САДЫ, ЗАЦВЕТУТ!

Повесть

(главы 11-15, продолжение следует)

Озёрск, 2023

Глава 11
Горе горем, а жить все равно надо…

– Что-то ты замолчала, Лиляна, – строго спросила однажды утром Лена. – Стихи пишешь?

– Обдумываю все. Не могу толково выразить то, о чем думается. Все получается или приподнято-трескуче и отсюда – фальшиво, или приземленно-тускло, серо, неинтересно даже для себя самой. Оказывается, очень трудно написать прилично, я не говорю – хорошо, о том, что видела, переживала и чувствовала. А придумывать небылицы не могу и не хочу.

– А ты оставь все это лет на двадцать, а потом посмотри со стороны. Может быть, получится интереснее.

– Ты шутишь, Лена?

– Шучу. А впрочем, – Лена помедлила немного и потом решительно закончила, – лучше написать обо всем, что мы пережили, несколько десятилетий спустя. И не потому, что мы станем старше и по-другому сумеем оценить время нашей молодости, а потому… Ну, ты сама понимаешь, много очень сложного в нашей жизни, – такого, о чем мы с тобой сейчас не имеем настоящего представления. Только история сумеет дать некоторым вещам настоящую оценку.

– Не понимаю тебя, Лена. Ты о чем?

– Да так… Бред. Не обращай внимания. Просто у слепой сегодня настроение не то. Не с той ноги встала сегодня… А ты пиши! Обязательно пиши. Надо научиться образно рассказывать о том, что видела, о том, что пережила. Работай, переделывай, отбирай главное, ищи интересные сравнения, безжалостно выбрасывай ненужное, второстепенное – то, что загромождает основное рассуждение, уводит от главной магистрали. Конечно, это очень трудно – писать стихи.

Лицо Лены сделалось мечтательным и просветленным. Она спокойно погладила жесткий ворс госпитального одеяла, а потом

заметила:

– Думаю, что стихи твои захватили как-то и тебя самое. Увлекли, что ли. Ты серьезнее стала к ним относиться.

– Верно. Но теперь пишется намного труднее.

Да, она права, Лена. У меня в ту пору наступила такая полоса, когда в моих рассуждениях, что я пыталась поведать обрывкам госпитальной бумаги, наступил какой-то кризис. Что-то сломалось, оборвалось. Я критически перечитывала свои стихотворные наброски и находила их серыми, скучно-нудными, менторскими, а мысли – трафаретными, слишком уж стандартными, обязательными. И, вместе с тем, я отлично понимала, что иначе и писать, и думать не могу. Я задавала себе вопрос: а для чего все это я делаю? Для кого пишу? Мне очень хотелось написать такие стихи, чтобы они понравились тем, кто переживал и фронт, и горе в тылу, и все перенес, все выдюжил. Я безжалостно спрашивала себя: а зачем? Таким как генерал-майор Борисов, как Генка Козырев, как доктор Далибов это вряд ли будет интересно, потому что они видели и пережили побольше моего, они глубже, образованнее меня и способны понимать все, может быть, тоньше и сложнее. Что я открою для них? А тем, кто не переживал, кто так или иначе стоял в стороне, вряд ли мои фронтовые баллады будут интересны. Им все покажется нарочитым, неискренним. Так стоит ли писать вообще?

Я снова и снова перечитывала свои тетрадки, сшитые из старых историй болезни, снова придирчиво читала фразу за фразой. И то, что мне не нравилось, я безжалостно рвала на мелкие кусочки. В такие минуты Лена спрашивала:

– Бунтуешь?

И я видела, что она довольна. Обычно по вечерам, когда мы лежали, не зажигая огня, – сумерничали, Лена расспрашивала:

– А что там было, на тех листках, которые ты подвергла яростному уничтожению?

– Пустяки. Чудные стихотворные разглагольствования. Дамские кружева.

– А конкретнее.

– Рассуждения о бескрайней широкой морозной степи, да о ветрах, что гуляют над сиротливыми могилами, над братскими могилами с фанерными звездочками на необструганных деревянных пирамидках.

– А еще о чем?

– Да все о личном. Как я оставила балку Долгую и Колину могилу.

На это Лена не ответила мне ничего. В самом деле, очень трудно говорить о личном, о самом сокровенном, – о том, что каждую минуту тянет к земле, закрывает свет, мешает легко и свободно дышать. Очень трудно справиться с бедой, особенно когда у тебя отнято все – дом, родные, любовь. Очень нелегко все осмыслить и со всем примириться.

Я постоянно видела степь, балку и братскую могилу, в которой остался Коля. Теперь тот самый дорогой для меня холмик рыжей степной земли занесло снегом, перемешанным с песком. Ветры и скупые степные дожди стерли, наверное, надпись на клочке фанерки, что была прибита к пирамидке, надпись фиолетовым химическим карандашом. И никогда не отыскать мне больше той могилы.

– Снег там теперь в степи…

– Не убивайся так. Закончится война, и люди сделают настоящие памятники – из мрамора, бронзы, латуни – тем, кому мы сейчас наспех фанерные обелиски ставим.

– Было бы так…

– Будет! И ты отыщешь Колину могилу.

– Вряд ли… По каким приметам найду я ее? Затеряется она, как и многие другие.

– Не думаю! – сердито возразила Лена. – Ну, хватит болтать.

Давай-ка поработаем, дружок.

* * *

Калейдоскопом фронтовых дел и забот мелькали те дни, о которых и теперь мне страшно вспоминать. Я и не заметила, как короткая осень закончилась нешуточными морозами. Прогретая летним солнцем рыжая земля подверглась еще одному испытанию – холодом. Подули резкие ветры. Со степи в балки несли они холодную желтую пыль. Иногда шел снег, но не такой, к какому я привыкла, не липкий, с мягкими хлопьями, а колкий, жесткий. Небо часто посылало нам, зарывшимся в блиндажи, острую снежную крупу.

Шли дни за днями. Ничто вроде не изменилось. Мы давно оставили балку Долгую с большим кладбищем, и на новом месте выросло новое – не меньше прежнего. Наскоро сбитых пирамидок над горбатыми холмиками, пирамидок с фанерными и жестяными звездочками становилось все больше и больше.

…Зимнее утро. Сердитый ветер кружит колючие снежинки, перемешанные с песком. Еще недавно здесь, на этом небольшом участке, размешивая жидкую грязь, ползли грузовики, скользили копыта лошадей, и солдатские сапоги добротно месили эту бурую вязкую грязь. А теперь мороз схватил все эти следы, и они мешают стоять. Ребристый барельеф на тему «следы войны» лежит под нашими подошвами. Мы особенно чувствуем все линии неумолимого художника, потому что надели валенки и стоим на ветру, ожидая открытия митинга. Мы перебираем ногами, нащупывая наиболее удобное положение для подошв. Холодно. Под шинели забирается ветер. Стоять в строю еще холоднее, чем идти. Снежная крупа так и хлещет в наши раскрасневшиеся на ветру лица. Мы стоим правильным четырехугольником. Санитарки, фельдшера, сестры, врачи. Больше женщины.

Начинается митинг. Наши войска замкнули в кольцо врага. Здесь, у Сталинграда, началось такое, о чем долго будут потом рассказывать историки. Это еще не конец. Будут еще бои. Еще будет очень много потерь, еще в глубине России заплачет не одна женщина, получив похоронную, еще осиротеют много детишек. Но

она уже идет, наша Победа. Мы видим ее строгий чеканный Профиль. Нет, это не воздушная Ника Самофракийская – это российская Победа с автоматом в стынущих на ветру руках, в развевающейся серой шинели и в шапке-ушанке. Она совсем близко, наша Виктория, наша Победа. Это о ней говорит сейчас на митинге командир нашего медицинского батальона капитан медицинской службы Журавлёв. И чтобы скорее пришла Победа, мы должны работать так, как только умеет, пожалуй, на всем белом свете русский труженик – до соленого пота, не вспоминая об усталости, не думая ни о чем, кроме одного: скорее победить. Об этом говорит главный хирург медсанбата – доктор Далибов, майор медицинской службы. О мужестве, о доблести, о героизме простого человека – скромного винтика – говорит политрук Жемчугов. Я слушаю Аркадия Петровича и думаю о том, что в беседах с нами он лучше – задушевнее. А здесь на митинге я просто не узнаю его – слова и мысли политрука точно детали какой-то машины. Может быть, так надо?

– Если враг не сдается, его уничтожают, – так сказал великий гуманист нашего времени Максим Горький… – доносятся до меня слова выступающей санитарки. Вглядываюсь: кто такая? А-а… Это новенькая, я даже не знаю, как ее зовут. Она работает в госпитальном взводе. Смешная маленькая девчушка. Надела большие валенки. Волосенки торчат из-под шапки. Вид воинственный и задорный. Говорит, как и все – о Победе. Я не слушаю девчушку, я пытаюсь представить себе Победу…

Она в серой шинели. С лица ее на землю падают тяжелые капли пота. И не только лицо ее в поту, щека – оцарапана пулей. Ей тяжело идти – полы шинели тянут вниз, они заляпаны грязью и кровью. Чья кровь на них? И своя, и вражеская, – все перемешалось. Она идет через вспаханные снарядами поля, перелесками, обожженными военным огнем, улицами сожженных деревень и площадями разрушенных городов. Она знает обо всех наших горестях, Победа. Знает о сиротах и вдовах, об искалеченных и убитых. И потому лицо ее в глубоких морщинках и

глаза усталые. Я видела фотографии Ники Самофракийский – символической, легкокрылой, стремительной. Как жаль, что не сохранила история для нас голову этой богини. Думается, что лицо Ники – спокойное, тронутое чуть заметной улыбкой. Нет, наша Победа совсем не похожа на Нику. И легкокрылой быть она никак не может…

– Бейте врага, товарищи бойцы, бейте тех, кто с мечом пришел на нашу землю, а мы, санитары, будем работать не покладая рук, будем помогать вам побеждать врага.

Потом другие люди говорили громкие слова, и слова те падали в наши души тучей искорок в сухую сухомань.

Как только закончился митинг, Клава Семенова схватила меня за рукав шинели и потащила к нашему блиндажу.

– Скорее, Лилянка. Будем чай пить. Девчонки притащили со склада буханку хлеба.

– Вот здорово! – обрадовалась я. – Значит, будет пир.

Я уже видела, как быстро режется хлеб, как подсушиваются аппетитные ломти на раскаленной жестяной печке, что стоит посередине нашего блиндажа, видела, как вскипает в котелках чай, и мы, продрогшие на митинге, «кайфуем» целый вечер. Хрустят на наших зубах поджаренные корочки темного армейского пайкового хлеба, но…

– Орлович, до комбата… – это кричит запыхавшийся от быстрой ходьбы выздоравливающий боец из госпитального взвода, который выполняет у нас обязанности и санитара, и вестового. Клава комически разводит руками, а я, не скрывая досады, плетусь к блиндажу начальства. Плетусь и думаю, в чем провинилась? Перебираю все события сегодняшнего дежурства. Нет, ничего вроде «крамольного» за мной не числится. Вчера? Позавчера? Нет, ничего такого. Так что же ему от меня надо, комбату? Значит, случилось что-то. К комбату зря не вызовут. Постучала в дверь.

– Войдите.

– Товарищ командир медико-санитарного батальона…

– Проходи, Лиляна, – оборвал мое официальное обращение

комбат.

Я тщательно вытерла свои валенки у порога и осторожно прошла в передний угол блиндажа. Послушно присела на ящик, прикрытый плащ-палаткой. Огляделась потихоньку – все-таки интересно, как наш комбат живет. До этого у начальства военного мне как-то бывать не приходилось.

– Устала, замерзла? – спросил комбат. – Может быть, чаю? Да ты сними шинель, здесь тепло.

Все, что говорил этот человек, было «типичное не то», как острили некоторые наши медсанбатовские девчонки. Непонятной была его суетливость, странным – обращение на «ты». Все это как-то не вязалось с тем, каким был в моем представлении наш командир. Я продолжала сидеть на ящике и изучающе разглядывать жилище этого совсем незнакомого и странного человека. Внимание мое привлек столик, сделанный из ящика из-под медикаментов. Покрыли ящик белой простыней, вот и получился столик. На нем штук пять книжек, одеколон, расческа. Все лежит аккуратно, точно женская рука хозяйничала. Нет, пожалуй, – не женская. Из-под импровизированной скатерти виднеется уголок фланелевой портянки. Вряд ли бы женщина туда засунула ее.

И все-таки, зачем он вызвал меня? В армии старших по званию спрашивать не положено. Я подняла голову и удивилась: комбат стоял ко мне вполоборота и почему-то мял в руках свою ушанку. Что это с ним? Потом он бросил шапку на кровать и шагнул ко мне. Никогда не видела я его таким смущенным. Я чувствовала, каких усилий стоит ему взять себя в руки. И он, наконец, справился с нелегкой для него задачей. Он тихо спросил:

– Как живешь, Лиляна?

– Теперь уже хорошо, товарищ комбат. Работаю…

– Как ты работаешь, я знаю. О себе расскажи.

– Что мне рассказывать? Вам же все обо мне известно.

– Да, конечно. Все это нелегко. Но горе твое забудется.

– Так и Аркадий Петрович говорит.

– Мне Аркадий Петрович много о тебе рассказывал. И о подружках твоих говорил. Любят тебя. Это хорошо. Хорошо, когда много друзей.

– Вы так говорите, будто у вас здесь нет товарищей.

– Ты не так поняла меня, – улыбнулся комбат. – Товарищей у меня много, но иногда этого бывает мало…

Я опустила голову. Вот в чем, оказывается, дело. Этого я никак не ожидала. Такой строгий, требовательный. Да к нему не подойти. Девчонки шепчутся о нем и боятся его. Он молодой и собой видный, как утверждают многие, и не юбочник. Это установлено. Ну что тебе еще надо, Лиляна? Даже говорить ничего не надо, только посмотреть, – и все. Нет! И не посмотрю, и ничего не скажу я вам, мой командир. Я никого не вижу с тех пор, как случилось непоправимое с Колей. Понимаете ли вы это, товарищ капитан медицинской службы, ясно ли вам это, доктор Журавлев?

Наверное, молчание мое было правильно понято комбатом.

– Я не хотел тебя обидеть, Лиляна.

– На командира не положено обижаться…

– Ох, Лиляна-Лиляна, девушка с холодными глазами, не говори мне сейчас ничего. Потом все скажется. Пойму…

Я ничего не ответила. Комбат отошел к столику и стал перебирать свои книжки. В другое время я не утерпела бы и поинтересовалась, с чем же он не расстается даже на фронте. Но в тот момент это было до такой степени неуместным, что я сдержала свое любопытство.

– Мне можно уйти?

– Что ты делать сейчас будешь? У тебя разве дежурство?

– Нет, я сменилась перед митингом. У нас девчата задумали сегодня собраться вместе. Гренки будем жарить и пить чай.

– И петь?

– И петь, и о литературе говорить, и стихи читать.

– Говорил как-то политрук о ваших «посиделках», хвалил.

– Уж этот Аркадий Петрович… Доложил все-таки.

– Мне тоже хотелось бы посмотреть, как у вас.

– Просто… собираемся – «все свои» – санитарки больше, да некоторых сестер приглашаем.

– А врачи не приходят?

– Как можно? – иронически протянула я.

– А меня не прогоните, если приду?

– Хоть сейчас! Пойдемте.

– Ловлю на слове…

И комбат начал собираться. На пороге, когда мы выходили из блиндажа, он торопливо проговорил:

– У меня не было другого выхода, прости меня. Но не отвечай сейчас ничего. Пойми меня правильно. Я только хотел, чтобы ты знала…

Мы вышли и окунулись в мглистый вечер. По-прежнему мела поземка, и завывал зло и надсадно ветер, бросая нам в лицо пригоршни снежной колючей крупы, перемешанной с песком. Комбат шел немного впереди, совершенно не обращая на меня внимания, и с трудом верилось, что только всего несколько минут тому назад у него было смущенное лицо и неуверенный голос. Неужели этот строгий, широко шагающий капитан медицинской службы, наш комбат, и тот простой душевный парень – один и тот же человек? Вот поди, разберись-ка…

Но… Нет! Никогда… Никогда он не будет для меня тем, кем был Коля. О чем же и рассуждать?

Комбат несколько сократил шаги, дожидаясь меня.

– Ты не замерзла?

– Нет.

– Прости, что на «ты» обращаюсь, привык так в мыслях…

Я ничего не ответила. Но и уйти не могла так, сразу. Я ведь сама пригласила его на «посиделки».

– Не знаю, говорить тебе или нет, – начал снова комбат. – Только была у меня девушка. Но она, как и твой Коля, погибла на фронте. Только не видел я ее мертвой и все не хотел верить. А потом эта твоя история. Глядя на твое горе, поверил. Странно, не правда ли? Но ты не думай, я ничего плохого тебе не желаю. И не

знаю, правильно ли поступил, что сказал тебе о… о своем отношении. Как ты считаешь

– Не знаю…

За разговорами не заметили мы, как прошли наш блиндаж. Мы брели по запорошенной легким снежком дороге. Высоко где-то над самыми нашими головами летел самолет. Вокруг – ни огонька – близко передовая. Только слегка прикрытое снежной пылью широкое поле расстилается перед нами, и кругом – ни души. И вдруг что-то заскрипело, ухнуло и в мгновение ока вся степь осветилась ярким огнем. Большая лампа-корзина повисла в воздухе. Я испуганно зажмурилась и метнулась к комбату, и он осторожно прикрыл мою голову руками.

– Испугалась?

– Немножко. Что это? Для чего?

– Чтобы лучше сориентироваться.

– Может быть, бомбежка?

– Вряд ли. А впрочем…

И мы поспешили к нам в блиндаж. Но, к счастью, ничего не случилось – лампы погорели-погорели, да и погасли.

Возбужденные перешагнули мы порог нашего блиндажа. Здесь во всю шел пир. Поджаренные ломтики хлеба внушительной горкой лежали на маленьком столике, устроенном из ящика от медикаментов. На жестяной печке дымились два котелка чаю. На ненаписанном трафарете «боевого листка» (увидел бы политрук такую вольность, заворчал бы) лежал сахарный песок – полный дневной рацион всех обитательниц двухэтажных нар. Разнокалиберные кружки стояли перед каждой из девчонок.

– Здравствуйте, девушки, не прогоните? – весело обратился к девчонкам комбат.

– Здравия желаем, товарищ комбат, – по-солдатски ответил кто-то. А потом по-простому, по-домашнему:

– Выпейте с нами чайку.

Девчонки засуетились, освобождая место для доктора Журавлева. Вскочила Надя со своего места, бросилась отыскивать

для комбата кружку.

Сначала разговор не клеился. Девчата чувствовали себя неловко, не знали, о чем говорить с командиром. Надя молча наливала чай, Клава Семенова перешептывалась с новенькой санитаркой, которая выступала на митинге.

Потом разговорились все. Комбат оказался веселым, компанейским, и скоро девчонки уже добродушно подшучивали над ним. Все допытывались, почему он так редко заходит в блиндаж санитарок и будет ли чаще наведываться впредь? Конечно, у нас веселее, чем у врачей. Те по двое-трое живут, а у нас вон какая коммуна. Следовательно… Комбат отшучивался и уверял девчонок, что исправит оплошность и будет очень частым гостем, каждый день будет заходить. Клава заметила, что это многовато будет. Почему? Известно, что от начальства надо быть всегда на почтительном расстоянии. И себе, и начальству так спокойнее. Комбат, лукаво щурясь, соглашался. А мне было неприятно: видно, он подумал, что я тогда из кокетства метнулась к нему, когда загорелась осветительная ракета. И теперь он думает невесть что… Но комбат продолжал «завоевывать» девчонок. И совсем покорил всех, когда хорошо поставленным баритоном начал грустную песню. Девчата подхватили, и широкая многоголосая песня вырвалась из блиндажа и полетела в степь, переплетаясь с голосом сердитого ветра…

* * *

Нет, как я ни старалась, не могла сразу побороть своего горя. Чтобы не думать о рыжем холмике, который остался в балке Долгой, и о фанерном обелиске, и о знакомой до боли фамилии, которую я могла бы носить до самой смерти, я много работала. Часто подменяла усталых девчонок-санитарок. Удивительное дело! Усталость не брала меня; казалось, что теперь ничто не в силах смять, пригнуть или утомить меня. Что может быть сильнее того, что я пережила? И если уж выстояла, то должна теперь жить долго…

В «Боевом листке» обо мне писали, что я работаю не жалея сил и времени, и чтобы с меня брали пример. И все в таком роде…

В середине января, перед самым окончанием битвы на Волге, меня приняли кандидатом в партию. Говорили, что принимают за то, что работаю на совесть. А как же иначе?

...Пусть я не хирург и даже не медицинская сестра, а всего лишь санитарка. Но ведь и без нас, без рядовых, не смог бы медсанбат работать.

Много пришлось мне видеть израненных, искалеченных людей. Сколько? Всех и не сосчитать… Какие они были? И не упомнишь. Но отдельные случаи глубоко врезаются в память. Об одном из них уже здесь, в Челябинском госпитале, писала я стихи:

Разгульный мечется за стенкой ветер
И песню дикую поет,
Как будто сердится на этот вечер –
В бока палатки, как в заслонку, бьет.
Бросает снежную крупу горстями
И норовит забраться под брезент,
Наполнен невеселыми вестями,
Швырнуть их подбирает он момент.
В палатке ровный ряд носилок
Привычно строго, как в строю, застыл, –
Лежат здесь те, которым не под силу
Уехать в госпиталь, в далекий тыл.
Я слышу стон, беру скорей светильник,
Сработанный из гильзы от снаряда.
В мерцающем огне его несильном
Я вижу: сверстник умирает. Рядом
Стою, смотрю, как лейтенант бледнеет,
Ко лбу прилипла прядь волос,
И руки сильные когда-то холодеют
И светится в глазах один вопрос:
– Осталась ли хоть капелька надежды,

Надежды трепетной, что будет жить?
Но я-то вижу, знаю: безнадежен,
И это от него мне надо скрыть…
Мне стало холодно, и я стучу зубами
И ветер этот… Хоть бы он утих.
А лейтенант блестящими глазами
Глядит и говорит мне тихо-тихо:
– Озябла? Да? А мне вот меховую
Под голову жилетку положили.
Возьми ее. Холодный ветер дует,
Согрейся... Как бы не застыла...
Меня тот шепот как мороз сковал,
Я зубы стиснула, расплакаться боялась –
Он думал о других, когда, возможно, знал,
Что очень мало жить ему осталось…
Он умирал, как засыпают дети, –
Вдруг потянулся, а потом затих.
…За стенкой очень громко плакал ветер –
Особенно жалел он молодых.
…Потом жилет я штопала и шила,
Осколками он сильно был искромсан.
И зиму всю я тот жилет носила,
Как память о герое скромном.
В той дорогой заштопанной одежке
Меня увидел как-то генерал,
И что уже носить такой жилет негоже,
Нахмурившись, он строго мне сказал.
Устав нарушив, с болью и смятеньем
Заторопилась рассказать, просить.
И, выслушав меня с волненьем,
Он разрешил тогда:
– Носи…

…В конце дежурства мы с Клавой подготовили все для сдачи

смены – прибрали блиндаж, накололи дров, принесли продукты. Раненых не было. Мы присели, ожидая смену.

– А что я скажу тебе, Лилянка, – таинственно начала моя подружка.

– Секрет? – не скрывая иронии, спросила я.

– Ну уж ты… – надулась Клава. – И говорить-то не хочется.

– Скажи. Ну, скажи, Клавдюшка, – стала упрашивать я.

Клава подулась немножко для формы, но свой секрет удержать не могла:

– Командир дивизии к нам приезжает!

– Только и дел у него, что по медсанбатам разъезжать, – возразила я.

– Правда! Надька сказала.

Ну, если Надя, то, пожалуй, верно. Она всегда почему-то узнавала обо всем раньше других, и, удивительное дело, сведения оказывались всегда достоверными.

– Ну и что? – безразличным голосом сказала я.

– Как что? – вскочила со своего места Клава. – Генерал ведь, – горячо возразила она, и лицо ее сделалось даже чуточку торжественным.

– Девчата болтают: добрый и красивый, – закончила она.

– Подумаешь…

– Да, ничего не скажешь! – отрезала Клава. – Ну и задавака ты, Лилянка. Будто сама каждый день видела генерала…

Я прошла в дальний угол блиндажа, чтоб поправить сдвинутые в сторону носилки. Клаве не ответила. Не могла же я начать хвастаться, что мой брат был генералом. Что же касается нашего командира дивизии, то я несколько покривила душой перед Клавой. Я тоже пыталась угадать, что за человек наш командир дивизии. Он поразил меня когда-то своим выступлением. В самом деле: немцы теснят нас к Волге, в течение нескольких дней мы теряем дивизию, а этот высокий человек со смуглым лицом и чуть заметной сединой на висках доказывает:

– Будем в Берлине!

И веришь ему, веришь. Секрет таких людей, как Борисов – что сами они глубоко убеждены в том, что говорят. Их убедительность от убежденности, вот в чем дело.

– Давай-ка, солдат, снова посидим, – говорю я Клаве.

– Ты сейчас точно Аркадий Петрович сказала: солдат, – отозвалась Клава.

Смена почему-то сильно запаздывала. Мы присели на ящик из-под медикаментов. При тусклом свете лампы-гильзы лицо моей подружки выглядело особенно осунувшимся и очень усталым. Свет нашего самодельного светильника падал на забрызганный кровью халат, на натруженные Клавины руки. Восемнадцатилетняя девчонка казалась мне в ту минуту старше себя почти вдвое.

– Девочки, командир дивизии приехал! – выпалила Надя Волкова, вбегая к нам и гремя своими подкованными сапогами.

– Ну и что? – равнодушно отозвалась я.

– Как это: что? – заволновалась Клава.

– Зайти к нам может! Приберитесь-ка здесь получше, а я побежала в разведку, – крикнула на ходу Надя и умчалась узнавать, в какой взвод направился Борисов.

Клава заметалась по блиндажу, отыскивая, что бы поправить, где бы еще прибрать. Я не двинулась с места. Не знаю, почему. Мне тоже было интересно, зайдет к нам командир дивизии или нет, и тоже хотелось, чтобы зашел. Но я, сама не знаю отчего, напускала на себя самый равнодушный вид, доказывала себе, что все это меня не касается, и подтрунивала над суетящейся Клавой:

– Старайся, старайся, солдат… Как же! Вот сейчас и явится к нам в приемо-сортировочный взвод командир дивизии. Именно к нам, а не куда-либо, – цедила я сквозь зубы.

– Разговорчики, санитарка Орлович! – озорно блестела глазами курносая Клава, а проворные руки ее так и мелькали.

Я не могла долго играть в равнодушие, а потом – все-таки и совесть надо знать: Клава-то работает. Я стала активно помогать ей. За какие-то полчаса мы просто вылизали наш блиндаж. Но никто не появлялся.

– …Большое декольте… – бормотала я, оглядывая помещение.

– Чего? – не поняла Клава.

…Смена не приходила. Клава уже собралась было идти узнавать, почему такой непорядок, когда появился Аркадий Петрович.

– Постарались-то как, – улыбнулся он. – Знаете?

– Зря, видно, старались, товарищ политрук, – ответила огорченная Клава.

– По-видимому, каждый день надо так делать.

– Не получится. Сегодня раненых не привезли, а когда раненые… – ответила я.

– Знаю. Нельзя вас в недобросовестности обвинять. Работаете вы честно.

– Но все же: зря мы старались или нет? – допытывалась Клава.

– По-видимому, не зря. Командир дивизии намерен обойти все подразделения, и не исключено, что может начать с приемо-сортировочного взвода. Он сейчас беседует с комбатом. Ну, я пошел, девчата.

Мы с Клавой сразу догадались, что Аркадий Петрович приходил, чтобы предупредить нас, и понимающе переглянулись как только он скрылся за дверью.

Но что это? Дверь снова широко распахнулась, и генерал-майор Борисов вместе с командиром нашего батальона и врачами-командирами взводов вошел к нам. В блиндаже стало тесно.

– Товарищ генерал-майор… – вынырнула откуда-то Надя Волкова, – приемо-сортировочный взвод…

Я очень волновалась за Надю, боялась, что она собьется, но бедовая медсестра доложила по всей форме, как полагается.

– Вольно… вольно… – послышался спокойный голос.

Я впервые так близко видела нашего командира дивизии. Смуглое волевое лицо. Насмешливые светло-карие глаза. Высокий, ладный такой человек. Чем-то неуловимо напоминает нашего Яшу. Может быть, манерой говорить, держаться. Может быть, едва заметной снисходительностью, свойственной большим командирам

в разговоре с подчиненными. Нет, это не воспринималось как высокомерие и даже не вызывало внутреннего протеста. Просто это был тон человека, который знает больше. Это была приобретенная годами манера руководителя, на которого обстоятельствами возлагалась большая ответственность за дела и за людей. …И на Колю Савчука чем-то похож. Поставь их рядом, – сочтешь за братьев…

И почему, собственно, ты, Лиляна, ищешь в этом человеке какое-то сходство с дорогими для тебя людьми? Просто у генерал-майора хорошее, симпатичное лицо, глаза по-доброму улыбаются. Какой-то он располагающий к себе, сердечный, искренний.

– И все-таки мы с комбатом вам на пятки наступили, товарищ политрук? – весело спросил командир дивизии, обращаясь к Аркадию Петровичу. – Хитрый какой! Спешил, небось, предупредить девушек. Вон какой блеск навели.

Нам была приятна похвала старшего командира. Исчезли напряженность и скованность, какая обычно бывает в подобных случаях. Мы с Клавой облегченно вздохнули и даже заулыбались, когда услышали, что и комбата нашего разгадал генерал-майор:

– И ты, комбат, хорош, – продолжал Борисов. – Заговорил меня, чтоб дать здесь фору. Верно, политрук?

– О тактике комбата не скажу, товарищ генерал-майор, – в тон командиру дивизии ответил Аркадий Петрович. – Что же касается меня, то… виноват, товарищ генерал-майор! Только опоздал я. Кто-то до меня уже успел предупредить девчат.

– Ну что ж. Это неплохо, когда разведка работает.

В блиндаже было много народу, а командир дивизии, по-видимому, хотел познакомиться с нашими вояками получше, потому и отпустил все медсанбатовское руководство. Только политрука оставил.

– Очень много начальников, – заметил он, обращаясь к Клаве. – Ну их, правда?

Клава растерялась, не зная, что ответить.

– Ничего-ничего, – ободрил ее Борисов. – Рассказывайте,

девушки, как живете.

Мы замялись. Тогда командир дивизии стал расспрашивать Надю о работе нашего взвода. Бойкая Надя и то поначалу стушевалась: ведь она всего лишь медсестра, а командиром у нас доктор… И как на грех не было Галины Ахметовны рядом. Но потом медсестра наша осмелела и стала подробно рассказывать о жизни приемо-сортировочного взвода. Незаметно разговор перешел на личное – откуда сама Надя, где училась, что думает делать после войны. Потом генерал-майор стал расспрашивать Клаву о ее колхозе и о том, трудно ли ей на фронте?

Аркадий Петрович попросил у Борисова разрешение пойти проверить, все ли подготовлено к вручению партийных документов и нет ли каких претензий со стороны членов дивизионной комиссии, которые будут вручать кандидатские карточки и партийные билеты.

Когда генерал-майор закончил разговор с Клавой, Надя послала ее зачем-то в госпитальный взвод. Я думала, что и мне тоже можно уйти вместе с Клавой, но командир дивизии решил поговорить и со мной.

– Вот и до вас очередь дошла, – сказал он, присаживаясь на закрытый плащ-палаткой ящик, что стоял у «столика» медсестры – тоже ящика, покрытого новенькой бязевой простыней. Командир дивизии подвинулся и пригласил меня присесть рядом.

– Рассказывайте, как живете. Письма от родных получаете? – задал он стереотипный вопрос, которым почему-то всегда начинают разговор с подчиненными командиры и политработники.

– Неоткуда их получать, товарищ генерал-майор. Я из Белоруссии. Там мама осталась.

– Постойте, постойте. Я не ослышался: ваша фамилия Орлович? Так вы сказали? У меня был знакомый – тоже Орлович, комбриг. Звали Яковом Ивановичем. Он в Финляндии погиб.

– Это мой брат.

– Учились мы вместе с вашим братом.

– В Академии?

– Да. Он двумя курсами старше. Интересный был человек. Романтик. Компанейский. Друзей у него всегда много было.

– И недруги тоже…

– Ну, без них не бывает. У настоящего человека – всегда должно быть много друзей и немножко злыдней. Так?

Командира дивизии, по-видимому, не устраивало освещение нашего блиндажа. Он почему-то хотел, чтобы свет падал на меня, но передвинуть просто так, без всякого повода наш «светильник» казалось ему неудобным. Он снял папаху, положил ее перед собой, а лампу переставил таким образом, что свет падал на меня.

Почему-то это не вызвало во мне протеста.

– А вы похожи на брата, – заключил он. – Только… – и не договорил, что «только»…

Я исподтишка разглядывала своего командира дивизии, отмечала его хорошую манеру говорить (даже лучше, чем у Яши). Незаметно скользнула взглядом по лицу, отметила, что волосы у генерал-майора почти совсем прямые, и на висках – седина. Почему-то мне вдруг стало очень неловко, и я, опустив голову, принялась усердно разглядывать серый каракуль генеральской папахи, которая лежала прямо перед моими глазами.

Командир дивизии, казалось, не замечал моего смущения. Он подробно расспрашивал меня, как я попала на фронт, где была в эвакуации, интересовался моей учебой в университете. Я рассказывала и о Москве, и о родных, и о гибели Валентины и Стасика. Только почему-то ни слова не сказала о Коле. Почему, не знаю…

Теперь, в Челябинском госпитале, я, кажется, прихожу к ответу на вопрос, но ответ этот… тревожный и зыбкий.

Мы, наверное, поговорили бы еще больше, если бы не появление Клавы, застывшей у двери…

Вечером вместе с другими девчонками нашего медсанбата пришла я в блиндаж эваковзвода, который был наскоро переоборудован для большого собрания. На сооруженном из ящиков из-под медикаментов «столе», застланном кумачом, лежали

новенькие партийные книжки. Торжественно восседают члены дивизионной партийной комиссии. Мы, вступающие в партию, волнуемся.

Нам говорят хорошие слова. Мы даже начинаем лучше думать о себе, когда слышим, как хорошо выполняем свой долг перед Родиной, что без нас невозможно победить врага, и что наши заботливые руки умеют все – и облегчить страдание раненого, и выполнять самую трудную мужскую работу. Советская армия побеждает. Здесь, в Сталинградском кольце, мечется враг, как крыса в мышеловке, а кольцо с каждым днем все сжимается и сжимается. Скоро мы победим здесь, у берегов Волги!

Это говорит командир дивизии, поздравляя нас со вступлением в партию. И снова слышу я голос того человека, который уверенно говорил когда-то:

– В Берлин войдем!

Трепетно держу я в руках кандидатскую карточку. Клава протискивается ко мне, дышит у самого уха, разглядывая дорогой для меня документ.

Официальная часть закончилась. Мы медленно расходимся.

– Орлович, что это у вас такая штопанная-перештопанная жилетка? – спрашивает, поравнявшись со мной, командир дивизии. Он говорит это вполголоса, но мне кажется, что все слышал его слова. Я вспыхнула до корней волос. Как понимать вопрос: замечание? Не по форме одета? Но ведь не я одна. Все – и медсестры, и санитарки носят меховые офицерские жилеты – в них удобно работать.

– Дорога мне эта заштопанная жилетка…

– Вот как! Реликвия?

– Если хотите, – да. Этот жилет подарил мне умирающий лейтенант. Совсем незнакомый.

– Расскажите, – попросил генерал.

Я торопливо пересказала историю с меховым жилетом, а потом попросила разрешение оставить его у себя.

Командир дивизии ответил не сразу. Он слушал меня, глядя

себе под ноги, и я, не видя выражения его лица, подумала, что этот человек как-то не одобряет меня, видит в моем рассказе нарочитость, что ли. Или сантименты. Ведь очень много умирало здесь, на фронте, людей. А тут какой-то жилет… Я уже пожалела, что так разоткровенничалась. Но и не ответить на вопрос нельзя было.

Командир дивизии поднял голову, провел ладонью по щеке, словно стирая с нее что-то, чуть прищуренным взглядом посмотрел на меня и сказал:

– Вот оно как… Носи! – и, круто повернувшись, вышел.

Хлопнула дверь блиндажа. Ушел добрый и сильный человек. Я представила себе, как шагает он к «виллису» – высокий, смуглолицый, задумчивый.

– Пошли, что ли! – потянула меня Клава. – Знаешь, что скажу тебе…

И уже по дороге Клава, захлебываясь, тараторила: – Врачихи-то, врачихи из госпитального. Чуть не съели тебя глазами, когда ты с командиром дивизии разговаривала.

– Глупости…

– И не говори! Ну что они перед тобой, Лилянка.

– Это ты из какой-то несусветной оперы.

– И не из оперы. Не видела я никогда оперы этой… – буркнула Клава. – Ты и сама знаешь, что на тебя все глаза пялят.

– Не говори пустяков, – рассердилась я.

Но мне, откровенно говоря, было приятно слушать о том, что сумела «насолить» врачихам своим разговором с генералом. Трудно сказать отчего, но недолюбливала я врачей-женщин. Они казались мне ужасными задаваками.

– Кончится война, народ спасибо вам скажет, – тихо повторила я слова командира дивизии. – А хорошо он о наших руках говорил. Правда, Клавдийка?

– Хорошо, только…

– Что: только?

– Кто скажет спасибо, а кто и – нет! – к моей Клаве вернулась

ее прежняя колкость. – Докажут тебе, Лилянка, что ты здесь, у Волги, из-под пушек гоняла лягушек. Докажут тебе, как дважды два, что была ты здесь… Понятно? – Вот кем, а не той героиней с нежными руками… Героини… – Клава смешно надула щеки и засмеялась. – Ну и чудной же он, генерал-майор, какие мы здесь героини!? Мы и ссоримся между собой и врачих не любим. А он: героини, – протянула Клава. А потом зашептала мне на ухо:

– Слушай, Лилянка, самый секретный мой совет: понравился мне наш Борисыч! Во как!

– Старый он…

– И совсем не старый! Лет тридцать восемь – не больше.

– Все равно…

Клава, отрицательно затрясла головой, и вся ее круглолицая физиономия выражала такой восторг, что у меня не хватило духу съехидничать по этому поводу.

– Вот сказали бы: умри за него! – восторженно шептала она.

Я не узнавала насмешливую свою подружку. Будто подменили ее. Даже лицо изменилось – глаза мечтательные, руками размахивает. Чудеса!

– Ты и вправду, может, влюбилась? А, Клавк?

– Ну уж и скажешь… – застеснялась она. – Что я перед ним? Но кто-то счастливый будет.

– Это как понимать?

– Одинокий он. Понимаешь, в Киеве, говорят, у него жена погибла. Под первые бомбы попала. Сам и похоронил. А теперь, говорят, и не смотрит ни на кого.

– Откуда ты знаешь все это?

– Надька говорила.

– Надька? Значит, правда…

– Если бы знала ты, что выделывают врачихи, чтоб как-нибудь заманить его в медсанбат.

– Ну, это, положим, сплетни. А потом… Строить счастье на чужом несчастье…

– При чем здесь: на несчастье? – возразила Клава. – Так уж

случилось у него. Не останется же он весь век один.

Странная эта Клава: но нам-то что с того, останется или не останется один генерал-майор Борисов?

Глава 12
Наша победа на Волге

3 февраля 1943 года на берегах Волги еще искрился снег. Еще дули пронизывающие степные ветры, а в сердцах наших была весна. От радости пел каждый мускул, каждый нерв радостно трепетал, глаза сияли счастьем. Мы победили на Волге!

Увезен в тыл последний раненый из нашего медсанбата. Опустел наш приемо-сортировочный взвод. Медсанбат переехал в район какого-то разбитого полустанка. Здесь осталось только одно название да фундамент станционных построек. Ничего, переживем. Построим, и не полустанок, а большой вокзал. Так думала я, шагая рядом с Надей и Клавой в поисках более или менее приличного блиндажа для жилья.

– Ну вот вам, девчата, и хоромы, – указала Надя на закрытую дверь бывшего немецкого блиндажа.

Мы с Клавой подошли и в нерешительности затоптались у плотно прикрытой двери. Даже бойкая Клава не решалась первой войти вовнутрь этого жилища.

– Ну что же вы?

– Иди первая, коли ты такая смелая, – сердито ответила Клава.

– Санитарка Семенова, не положено так разговаривать со старшими по званию, – заметила я, лукаво поглядывая на Надю Волкову.

– Меня этим не возьмешь, – как всегда грубовато сказала Надя и первая переступила порог оставленного врагом блиндажа.

– Постой, сумасшедшая, – и Клава оттолкнула ее плечом.

И обе они, не уступая друг другу, как Чичиков с Маниловым, одновременно протиснулись в дверь офицерского блиндажа. О том, что это был офицерский блиндаж, говорили вещи. Нет, они не говорили, а кричали из каждого угла. Надя ручным фонариком освещала все углы, и слабый лучик скользил по запыленному пианино, по дивану с высокой резной спинкой, по кровати с

полосатым пружинным матрацем, по изорванным иллюстрированным журналам, по груде разных фотографий и открыток, за торговлю которыми в нашей стране наказывают в уголовном порядке.

Я принесла лампу-гильзу, мы зажгли ее и принялись за уборку заброшенного, покинутого, по-видимому, в большой спешке блиндажа. Надя подошла к запылившемуся пианино и одним пальцем стала нажимать на белые клавиши. Расстроенный и изломанный инструмент отозвался жалобно, тоскливо.

– Эх, девочки, сил нет выносить все это!

– Что ты, Надя, – отозвалась Клава, которая уже усердно орудовала метлой.

– Как это: что? Подумать только – кто-то покупал эту дорогую вещь, деньги долго откладывал, чтоб детишки играть учились, а эти… Пришли, изломали, вон как клавиши повыдергивали. А говорили, что немцы – музыкальная нация. Вовек не поверю! Смотрите-ка, а вот сюда кто-то стрелял, – и Надя показала на след от пули, оставшийся в стенке пианино.

– Культура, – ворчала Надя.

Мы с Клавой не отвечали ей, молча соглашаясь; мы изо всех сил старались поскорее выгрести этот хлам и как следует проветрить помещение. Когда стали выносить на улицу все, что второпях сгребли в блиндаже, я увидела куклу. Растрепанная, маленькая, с оторванной рукой, она лежала в куче грязной бумаги и тряпья. Я осторожно стала стряхивать с нее пыль.

– Что ты там возишься, Лилянка? – сердито крикнула мне Надя из глубины блиндажа.

– Да вот, кукла…

– Какая же еще кукла?

– Обыкновенная. Детская. Иди посмотри сама.

Надя вышла и взяла из моих рук растрепанную замурзатившуюся куклу. Долго молча вертела ее в руках, о чем-то думая. Мне вспомнилось, как еще в балке Долгой она спорила с Аркадием Петровичем, доказывая, что, мол, что бы там ни

говорили, а немцы – культурнейшая нация. Вот теперь и окончен ваш спор, Надя Волкова.

– Ты отдай мне ее, Лилянка? Я сберегу, – попросила Надя.

– Возьми…

Надя носком сапога поворошила журналы и гадкие открытки, брезгливо приказала:

– Эту мерзость сейчас же сжечь!

Взгляд ее упал на плотно набитые конверты, сделанные из черной светонепроницаемой бумаги:

– А это что?

– Фотографии немецкие.

– Вот еще фотокарточки, – добавила Клава, выметая из блиндажа целую горку таких же черных конвертов.

– Тебе, Лилянка, надо фотографии пересмотреть. Может быть, дельное что попадется. Доложим тогда командованию. Действуй! – строго, по-командирски, распорядилась она.

– Есть: просмотреть фотографии, – ответила я и с большой неохотой взялась за первый конверт.

Ну, какой же из меня историк! – корила потом я себя. Ненависть заслонила все во мне, я забыла даже о своей будущей специальности. Я же буду историком! Не Надя – медицинская сестра, а я, студентка исторического факультета, должна было поинтересоваться этими фотографиями. Мне послышался даже голос Аркадия Петровича:

– Вот видишь, Лиляна, и историком, как и солдатом – тоже надо становиться. И процесс становления будет идти даже после получения диплома. Так- то…

Верно! Верно, товарищ политрук. Ну что из того, что фотографии эти создавались под определенным углом, что хотели они запечатлеть победу над нами. Получилось не так, как хотели те, кто верил в Гитлера.

И по мере того, как я разбирала и читала эти живые документы, во мне просыпался историк. Их было много, плотно набитых черных пачек в аккуратно склеенных конвертах. На

обороте каждой фотографии, как правило, сделана надпись – где чернилами, а где – карандашом. И до сих пор не могу я забыть некоторых из тех снимков.

Кладбище. Немецкое аккуратное кладбище в степи. В центре, над могилами, возвышается огромный черный крест. Он навис над крестами поменьше, словно орел-могильник. И те кресты, что поменьше, будто в строю застыли перед ним, черным, зловещим. Будто слушают его страшную команду. А над кладбищем мрачное серое небо. Глядит небо на темные кресты насуплено и осуждающе. На обороте фотографии надпись: «Мог бы и ты быть здесь, Вилли». Вот как! А зачем, спрашивается, принесло тебя, неизвестный Вилли, к нам? Нет, даже могилы не уготовано тебе. Вон у нашего блиндажа сколько лежит вас, вмерзших в лед. Ты, может быть, там – тоже. Или замерз где-нибудь в степи в своей подбитой ветром шинеленке и в соломенных эрзац-валенках.

Еще кладбище. На лесной поляне из аккуратно выпиленных стволов молоденьких березок – кресты. В этой чрезмерной аккуратности – что-то пошлое. Так не гармонируют наши светлокожие березки с тем, что сделали из них. Видно, и те, кто додумался соорудить из не оструганных березовых молодых стволов эти кресты, понял нелепость своей затеи и, чтобы исправить ошибку, чтоб погасить безмолвную светлую радость молодых березок, которые и после смерти своей смеялись над врагом, повесил на каждый крест по тяжелой стальной каске. Ну что ж, с мечом пришли…

На фотографии женщина, повязанная белым платком. Простая украинская деревенская «молодица». Она сидит на земле у какого-то шалаша и качает колыбельку. Качает люльку, подвешенную к дереву, и грустными глазами смотрит в объектив фотоаппарата. Красивая худощавая рука протянута к зыбке. Нет, не хочет она, чтобы ребенок ее вырос невольником. Не хочет! Ну как ты не понимаешь этого, самодовольный фотограф-завоеватель? Надпись на обороте карточки: «Туземка». Туземка?! Цивилизованный колонизатор и завоеванное население. Туземка… Это он,

новоиспеченный колонизатор, выгнал молодую мать с ребенком из дому и заставил их жить в убогом шалаше. Это он отнял у молодой женщины все.

Еще одна фотокарточка. Мальчики чистят щетками черный эсэсовский мундир. Я чувствую, с каким удовольствием щелкал завоеватель своим фотоаппаратом: вот, мол, что вам уготовано, низшая раса. И это в лучшем случае. Я чувствую, как тяжело дышат эти мальчишки, вчерашние пионеры. Ладно! Ты пока победил. Но не окончательно. Мы почистим тебе мундир, а… А в другой раз вместе со взрослыми отчистим тебе и голову. Мне представилось, как один из этих мальчишек пробирается в лес к партизанам и рассказывает им все, что успел узнать об этих зверях в черных мундирах.

Фотографии, фотографии...

Вот группа советских военнопленных. Босые, истерзанные, раненые. Повязки в пятнах крови. Большая колонна людей. Но глаза… У одних угрюмые, у других – откровенно непокорные. Нельзя сломить людей с такими глазами, как не понимаешь ты этого, фотограф?… На переднем плане красноармеец восточного типа – курчавые волосы, длиннолицый, костистый. Он жадно пьет воду из помятой консервной банки. Рядом в пыли валяется пилотка. Видно, фашист-фотограф сам и сбросил ее с головы пленного. Гимнастерка этого бойца разорвана, брюки в клочьях. Наверное, издевались над ним. И на обороте фотографии «Пленные. На переднем плане – еврей». А другими чернилами поставлен вопросительный знак. Значит, сам не уверен, кто…

И это люди? Вот он, оккупант, усиленно щелкая своим фотоаппаратом, старался запечатлеть для истории военные события. Он думал, что прославляет тем самым своего фюрера и нацию. Но он создавал обвинительные документы против своего фашистского строя, сам того не понимая. Как бы ни подбирали они типажи для своих снимков, ничего у них не получилось. Почти с каждой фотографии смотрят непокорные глаза угрюмых, но не сломленных людей. Ну, вот, например…

Перед объективом человек в темном пальто, в темной шляпе, из-под которой выбились спутанные седые волосы. Человек этот босой. В руках он держит метлу. Подметает городскую улицу. Надпись: «Профессор». Значит, тоже не покорился врагам. Значит, предпочел пойти с метлой на улицу теплому местечку, которое (конечно же!) было предложено ему оккупантами. Вот так.

Мелькают, мелькают в моих руках вражеские снимки. Чего там только не нафотографировано… А это…

Но из песни слов не выкинешь. Плохим бы я была будущим историком, если бы замалчивала то, что вижу. Только надо уметь найти причину, только надо правильно объяснить (интерпретировать – как сказал бы профессор) факт.

Вот они. И ни стыда у них, ни совести. Даже в объектив фотоаппарата смотрят, даже улыбаются при этом. И с ними те, кто непрошеными пришел в нашу страну – бандиты в грязно-зеленых шинелях. Впрочем, на снимке они без шинелей и без касок. Властелинами улеглись они на ковре (украденном, конечно) и как на одалисок глядят на этих и вправду – продажных – которые польстились на что и неизвестно.

Где-то подсознательно мелькнула: а Юдифь? Разве не могло и здесь быть то же самое? Нет, вряд ли. Здесь просто легкомысленные бабенки, которым никакого дела нет ни до патриотизма, ни до мнения людского.

Брезгливо швырнула я этот снимок в угол.

В глазах у меня рябит от фотографий. Но приказано пересмотреть все, прочитать надписи. Хорошо, что, в основном, разбираю написанное – пригодились знания, полученные в университете.

А это… Непонятно, почему оккупант сфотографировал наши танки. Разбитые, искореженные, стоят они на взгорке, и столько в них живого упорства, что, видно, боялся поближе подойти фотограф. Изуродованные и мертвые они внушали ужас.

Вот нечто другое. На фоне груды трупов наших воинов стоят офицеры «СС». И откуда свезли они столько трупов? Страшно... Но

страшнее всего, что один из насильников в черном мундире подпирает руками бока и скалит зубы. Или вон тот, крайний, с повязкой на глазу. Воротник черного эсэсовского мундира расстегнут, рукава засучены до локтей, и чудится мне, что руки те в крови.

Шуршат, шуршат глянцевитые фотокарточки. Мелькают снимки один за другим. Вот Днепр перед заходом солнца. На высоком берегу темный силуэт репейника. Ждет нас Днепр.

– Лиляна!

– Ну что тебе, Клава?

– Не дозовешься никак. Закончила?

– Заканчиваю. Надо сдать Аркадию Петровичу.

– Никак не можешь отвыкнуть, – тихо спрашивает Надя.

– Не могу.

Не могу смириться с тем, что перевели Аркадия Петровича в политотдел армии.

– Ладно, отдам Аське-комиссару, – улыбнулась я и стала аккуратно складывать фотографии.

– Догоняй, мы пошли в столовую! – крикнула Клава.

Я вышла из блиндажа и зажмурилась от яркого солнца. А с края горизонта прямо по дороге, что взбаламученным заснеженным ручьем бежала мимо, шли пленные. Я глядела на исковерканные обгоревшие машины – наши и вражеские, видела вмерзшие в землю трупы и наших, и врагов. Ветер гнал вдоль дороги клочки бумаги, обрывки разноцветных проводов, тряпки, коробки. Разные баночки выглядывали из мусора. Колонна пленных была уже совсем рядом.

Вот они поравнялись со мной. Мои враги. Я впервые вижу их так близко. Обмороженные, грязные, небритые. Некоторые тяжело ступают в своих разбитых эрзац-валенках, у многих вокруг шеи намотаны какие-то грязные тряпки.

Я отступила немного, глубоко засунув руки в карманы. Так вот они, какие…

Что ж ты не торжествуешь, Лиляна? Что не посылаешь на их

головы проклятий? Почему ты только пристально вглядываешься в эти жалкие почерневшие лица, стараясь запомнить все как можно подробнее?

…Я забылась и, нащупав в кармане кусочек сухаря, поднесла его ко рту. И вдруг из колонны протянулась ко мне грязная обмороженная рука. Конвойный был далеко, и пленный сделал несколько шагов в мою сторону.

– Хлеб… Паненка… – чуть шевелились потрескавшиеся черные губы.

Пленный протягивал руку, и я видела, как дрожали его колени – вот-вот упадет. Голодные глаза так и впились в кусочек сухаря.

Как ты поступишь, Лиляна? Он же твой враг. Ты сжимаешь в руке твердый сухарь. Хочешь запустить его в голову оккупанта? Что ж, тебя никто не осудит. Это они – эти – убили Валентину и Стасика. Они убили Колю Савчука. Что ж ты медлишь, девушка в шинели? Что?

Да. Да, это – правда. Я протянула *пленному* черный сухарь…

Глава 13
Любовь бывает разная…

Еще дули холодные ветры, еще мела поземка, а нас – подразделение за подразделением или, как именовали на фронте – хозяйство за хозяйством – отправляли на переформирование, на отдых. После морозов и пронизывающих ветров, после землянок и блиндажей – снова запыленные, запорошенные снегом грязно-красные составы товарняков, снова дощатые нары с соломой вместо матрацев, снова путь-дорога.

Мы оказались теперь в глубоком тылу. Нам приятно было сознавать это, всеми порами чувствовать, что теперь до единиц процента снижалась опасность нападения с воздуха и совершенно невозможны были обстрелы дальнобойными орудиями. Враг никак не мог прийти в себя. В Германии после нашей победы на Волге объявили трехдневный траур.

В дороге Аська-комиссар пришла в наш вагон проводить политинформацию. В прошлые времена Аркадий Петрович поручал многим из нас это дело, но новая комиссарша или хотела показать свою «оперативность», или не доверяла нам: что они, санитарки, могут? Обидно было немножко, но ничего не попишешь. Училась ты, Лилянка, всего-навсего только на третьем курсе исторического факультета, а здесь человек с законченным средним медицинским образованием. И к тому же только что назначена заместителем начальника командира батальона по политчасти. Комиссарская должность.

Правда, прежнего комиссара (была такая должность в медсанбате) мы видели довольно редко – он хорошо выступал на митингах, славно «пропесочивал» в случае какой-либо оплошности и ... изучал настроения. Аркадий же Петрович был настоящим нашим другом, политическим руководителем и воспитателем. Да, он был только лишь политруком, но у нас сложилось мнение, что

такой человек мог бы быть не только скромным политическим работником в медицинском батальоне. Мы и радовались, и огорчались, когда узнали, что Аркадия Петровича переводят от нас. Радовались тому, что идет он с повышением по службе – в политотдел армии (вон какой прыжок!), и горевали потому, что все, кто потом работал с нами, казались нам хуже…

После политинформации Аська-комиссар отвела меня в сторонку и строго сказала:

– Разобрать бы тебя, молодого кандидата партии, за легкомыслие. Такого натворила...

– А в чем дело?

– Слишком уж сердобольная – врагу хлеб суешь. В плен не успели взять их, а ты…

– Он же попросил хлеба, руку протянул…

– Ну и что с того?

Я не ответила. И как мне было признаваться в том, что и до сих пор не считаю себя виноватой.

– Моли бога, что у тебя защитники оказались всесильные.

– Кто это?

– Кто-кто? – передразнила Аська и совсем не по-комиссарски, а просто по-девчоночьи позавидовала:

– Сам командир дивизии. На твое счастье в политотделе был, когда меня по твоему вопросу туда вызывали.

– Зря это он. Разбирали бы, – сердито ответила я Аське.

– Ты не фанабырься. А со вступлением в партию придется теперь подождать. Так прошло бы три месяца – и подавай заявление о переводе из кандидатов в члены. Приняли бы, конечно, а теперь – погодим, – почему-то мстительно проговорила наша новоиспеченная комиссарша.

Я промолчала. Только с сожалением вспомнила Аркадия Петровича. Он бы понял. Разные, оказывается, бывают и политработники.

Пришла весна. Сначала осторожная, она, точно разведчик, подкрадывалась, веяла теплыми ветрами, потом на время уходила,

и тогда становилось холодно, неуютно. Но однажды, после сумеречных пасмурных суток, пошел крупный дружный дождь. Он принес весну. И все вокруг помолодело – задорно зазеленели обочины деревенской улицы, быстро стали набухать почки на искореженных войной деревьях. Теперь в этой далекой от фронта деревне будут взрываться только почки. Высокое голубое небо широко улыбалось земле – торопилось побыстрее залечить раны, нанесенные войной. Ярко и долго светило солнце, и все под его лучами стряхивало оцепенение, оживало, тянулось к свету и… людям хотелось обыкновенного человеческого счастья.

И вместе с этой дружной весной в наш теперь тыловой медсанбат пришла любовь.

Мы с Клавой несем тяжелые термоса с хвойным настоем, который медики рекомендуют пить, чтобы не было цинги. Жесткие брезентовые ремни впиваются нам в плечи. Тяжело. Но это не мешает нам болтать обо всем на свете и… конечно же, о любви.

– Ой, Лилянка, хоть бы встретился он на дороге где-нибудь. Взглянуть бы глазком одним.

– Это ты о генерал-майоре Борисове? – невинно спрашиваю я.

– Ох и коварная же ты, подружка моя!

– Любовь такая, радость большая, – напеваю я и дразняще гляжу на потное, раскрасневшееся Клавино лицо.

– Нет, уже не встретим. Если бы ехал, то догнал бы… – сочувствую я Клаве. – Зря ты только кудри сегодня завивала, мучилась ночью на бигудях.

– А что, развились?

– Да есть малость, – утешаю я, хотя от Клавиных кудрей ничего уже почти не осталось, ветер разметал выпрямившиеся жесткие волосы.

Клава, точно заклинание, каждую минуту произносит фамилию командира дивизии. Она заражает меня своими постоянными разговорами об этом человеке. И я ловлю себя на том, что мне и смешно это увлечение и хочется, чтобы Клава говорила

об этом… Я точно с горы бегу. Бегу-бегу и не могу остановиться. А что впереди: овраг или цветущая лужайка? Не надо обольщаться. Вряд ли – цветы. Надо заставить себя остановиться, но как? Ничего, силы воли у меня хватит. А то и я, как Клавка, влюбленная в генерала, начну ерунду говорить.

– Я, Лилянка, его сегодня во сне видела. Рассказать? – просит Клава.

– Ну что ж… Видно, бигуди спать мешали, так и снилось тебе пустое…

– Нет, и не пустое! Вижу: будто приехал он к нам в медсанбат, а вокруг – никого. Одна я только. Бегу ему навстречу – докладывать, а слова все пропали, что говорить и не знаю.

– А дальше?

– Проснулась я.

– И все?

– И все, а разве мало? Видела я его, видела. Эх, не понимаешь ты… – и Клава, огорченно махнув рукой, быстро шагает по дороге.

– Понимаю, Клавочка, понимаю… – говорю я и тороплюсь догнать свою подружку. – Вас, влюбленных, за семь верст видно.

– Так уж, – недоверчиво тянет Клава.

Я не осуждаю Клаву – ей только недавно исполнилось восемнадцать лет. Что она видела? Потому и придумала себе героя. А вот Надя Волкова… Она моя ровесница, пора бы ей и степеннее, что ли, быть, и она…

– А Надька наша, – смеется Клава, – перекисью выкрасилась…

– И Надя влюбилась. Только в кого?

– Будто не знаешь? – улыбается Клава. – В Ромочку!

– Это ты брось. Нельзя ей в Ромочку влюбляться. Там Аська.

– Аська? Значит, правду девчонки болтали. Раз и ты знаешь, то дело верное.

– Почему?

– Да потому что все новости в медсанбате ты, Лилянка, узнаешь последней. Уже все петухи прокукарекают, а ты только просыпаешься. И почему ты не любопытная такая, а? Лилянка?

Клава остановилась, сбросила тяжелый термос на землю и присела на молодую еще редкую травку. Я примостилась рядом.

– Ну, расскажи, расскажи, что ты знаешь об Аське?

– Ничего не знаю.

– По глазам вижу – знаешь. Хороша же подруга, – сердится Клава, – даже сказать не хочешь…

– Нет, Клава, не знаю.

Я сержусь на себя за то, что проговорилась. Но рассказать Клаве о том, что мне совершенно случайно пришлось услышать, я тоже не могу. Не потому, что не доверяла я этой честной хорошей девушке, а потому что все случайно услышанное мной было не для чужих ушей. И вспомнилось…

Аська-комиссар пришла посмотреть, как работает наша «витаминная фабрика». В другое время строгая и придирчивая, она на этот раз казалась рассеянной и чем-то озабоченной. Скользнула глазами по нашим «самоварам», отхлебнула хвойной настойки полстаканчика и приоткрыла дверь. Потом вернулась, спросила меня о чем-то и, не дослушав, снова открыла дверь.

По дорожке шел Ромочка, как привыкли называть мы начальника химической службы дивизии капитана Тимофеева, рядом с ним – Надя Волкова.

Аська-комиссар рывком распахнула дверь и направилась к ним. Мне надо было посмотреть, сколько у нас осталось «сырья», и я пробралась в малюсенькую кладовушку. Там было темно, и потому пришлось больше определять наощупь, что я и делала. Но выйти из кладовушки мне удалось не сразу.

В «главном цехе» нашей «фабрики» находились Аська и Ромочка, и разговор, который они вели, был очень важен для нашей комиссарши. Ромочка же дал бы «пол-литра», чтобы только как-нибудь удалось улизнуть. Поэтому я не могла подводить Аську, и, несмотря на то, что комиссаршу я не очень-то любила, чувство женской солидарности взяло верх. Не думаю, чтобы и сама Аська заподозрила меня в излишнем любопытстве. Чему-чему, а подобным элементарным этическим «тонкостям» меня научили и

простая деревенская женщина – моя мама, и позже – Валентина. Итак, я осталась в амбарушке-кладовой.

– Рома, – донесся до меня совершенно отчетливо Аськин голос, – Ромочка, ну что ты бегаешь от меня? Мне важное сказать тебе надо.

– Тороплюсь, рыбонька. Ну, говори, что там у тебя.

– Знаешь… – Ася что-то зашептала капитану Тимофееву на ухо. Сильно скрипнули сапоги: видно, Ромочка сделал шаг назад. Испугался?

– Не может быть! А ты уверена?

– Не первый год в школу хожу.

– Ты еще шутить можешь.

Пауза. Длинная пауза. Я пыталась представить себе расстроенное ожидающее Аськино лицо, и мне трудно было это сделать. Аська… Аська-комиссар. Такая строгая, официальная, самоуверенная. Да повернись ты к нему спиной и поди прочь! Аська, я уважать тебя буду за это до конца дней моих. Окажись в этой трудной для тебя ситуации комиссаром, а не нашкодившей бабенкой. Я, и все мы, – поймем тебя и не осудим за большое чувство. Что же ты ждешь, Аська?

– Ну, так придумай что-нибудь, – прозвучал просительно Ромочкин голос. – Вы же, медики, все можете. Даже головы людям латаете, а здесь… Пустяковина какая-то.

– Вот как! А сам говорил… Да что говорил!

– А что я тогда сказал? Ты же сама сказала: не маленькая. Вот и понимать должна, что бывают минуты, когда мужчина скажет все, что хочешь.

– Ты говорил, что у тебя нет жены. До того, до… Говорил, когда мы на формировании были.

– Милая моя комиссарша, – совсем уж издевательски сказал Ромочка, – нас учат не только доверять, но и проверять.

– И не стыдно тебе? – только и нашла что ответить Аська.

Эх, комиссарша-комиссарша. Да для него, для Ромочки твоего, ничего, выходит, святого нет. Неужели ты не слышишь, как он

издевается над тем, чему вас, политработников, учат. Как жаль, что нельзя мне выйти из этой кладовушки. Не посмотрела бы я на его погоны офицерские, а там пусть хоть десять нарядов вне очереди!

– Не сердись, рыбонька. Я и не думал врать: здесь-то, в армии, у меня жены нет. Здесь Асенька – женушка моя, – самодовольно изрек Ромочка. И по-видимому, улыбнулся – потому что Аська сердито заметила:

– Оставь хоть сегодня свое зубоскальство.

– Слушаюсь, товарищ комиссар, – и Ромочка шаркнул подошвой сапога. Потом помолчав, убеждающе заворковал:

– А чему, собственно, нам с тобой, рыбонька, печалиться? Фронт далеко. Над головой не гремит. Начальство занято пополнением дивизии. На дворе весна – вон яблоньки скоро зацветут.

– Не до яблоневого цвета мне.

– Ну, ничего. Дело, как я понимаю, не очень-то сложное. Полежишь денек-другой, и снова ночкой темною приду я к рыбоньке своей.

Аська! Что же ты не размахнешься и не дашь звонкую пощечину по нахальной роже пошляка? Аська, почему ты молчишь? Комиссар ты или..?

Я не слышала, что ответила Ася. Хлопнула дверь. Ушли. Вот и вся комиссаршина тайна. Разве можно выдать ее кому-нибудь? А Надю пусть Клава предостережет. Они последнее время подружились вроде, Клава с Надей. Пусть скажет Наде, что Ромочка и Аська… О, если бы можно было сказать прямо, что капитан Тимофеев подлец? Но Аськину репутацию нельзя подрывать. Должно все уладиться.

– Вставай, Лилянка, уснула, что ли? – Клава трясла меня за плечо. – Двинулись дальше, санитарка Орлович! Пошевеливайся! Нет за вами глаза! Чуть отвернись, вы и рады посачковать, – передразнивала Клава нашего старшину. – Распустились, как вязаные чулки. Догляд трэба!

Клава помогла мне поднять термос, и мы снова пошли вперед. Вон и лесок недалеко – там идут занятия молодого пополнения нашей дивизии.

… Скоро мы напоили бойцов горьким хвойным напитком, туго набили плащ-палаточные узлы душистыми сосновыми ветками и поплелись обратно в деревню, к себе в медсанбат.

– Отдохните, курносые, – неслось нам вдогонку.

– Ишь, чего захотели, молокососы, – ворчала Клава.

– Некогда! – помахала я ребятам сосновой веткой.

– Ну хоть немножко!

– И немножко некогда, – строго отрезала Клава и смешно подняла вверх свой действительно курносый нос.

Я заторопилась за своей строгой напарницей, успев заметить только, что молодые бойцы насобирали букетики ранних весенних цветов, и лежали те букетики рядом с новенькими автоматами. Не успели, видно, отдать нам с Клавой те цветы. Жаль! И все из-за этой Клавки, влюбленной в генерала. Мечется, думает на дороге где-нибудь его встретит. Всех, кто моложе сорока, презрительно зовет молокососами. И кто бы подумал, что с милой Клавдюшкой такое может приключиться…

Обратно мы просто бежали налегке. Пустые термосы да узлы с сосновыми ветками, какая же это тяжесть? Вот и околица. Вьется еле заметная, поросшая молодой светло-зеленой травкой деревенская тропка. Видна уже наша «витаминная фабрика». Любопытно, что она стала уже своеобразным клубом. Больше, правда, у нас там находит приют рядовой и младший командный состав – из женщин. А мужчины – преимущественно офицеры, и все больше – штабники. Строевым – даже на переформировании не до девчонок.

Аська, занятая своими личными делами, проводит с нами только утренние политинформации, а потом – «работает клуб». Но все это не так уж плохо – чем дальше от начальства – тем лучше.

– Смотри-ка, Лилянка, что они там утворяют.

– Обычная история. И удивляться нечему – просто взяли в

плен какого-то, по-видимому, смазливого офицера.

– И верно! – подтверждает дальнозоркая Клава. – Красивого окружили.

– Трудновато ему, горемычному, приходится, – сочувственно комментирую я.

– Ничего. Если фронтовик, не стушуется.

Мы подошли поближе. Девчонки окружили высокого белокурого старшего лейтенанта, и ну пичкать его нашим напитком. Надя Волкова командирским голосом приказывает:

– Пейте, товарищ старший лейтенант. Это противоцинготное средство – хвойный экстракт.

– Да не надо мне никаких экстрактов. Я же не больной.

– А вы, что, приказа по дивизии не знаете? – нажимает Надя. – Всем приказано пить. Вон девчата даже в подразделения носили наш экстракт.

Надя вошла в роль, ей самой нравилось командовать этим молодым офицером, нравилось и повторять само слово «экстракт» – звучало оно не по-здешнему и не по-фронтовому, а отдавало чем-то далеко ушедшим, пережитым, школьным.

– Девушки, честно говорю вам: ни к чему это, – убеждал девчонок старший лейтенант. И, чуть кокетничая, хвастался: – У меня пока все зубы целы. А приказы я привык выполнять. Пробовал я ваш напиток.

– Плохо выполняете приказы, – не унимаются девчонки.

Им явно нравится эта прозрачная игра, нравится белозубый широкоплечий офицер-блондин, нравится его ласковый голос и простое обращение. Потому и кричат они наперебой, потому и старается каждая обратить внимание старшего лейтенанта на свою особу.

– Девушки, а можно – по секрету? – блестит глазами офицер. – Не рассердитесь?

– Можно! – хором кричат девчата. – Мы сразу же получше радио, побыстрее то есть, разнесем ваш секрет! Говорите!

– Не вкусно!

– Вот так секрет, – отвечает Надя за всех. – Зато полезно. И повелительным жестом, точно царица награждающая кубком вина, протягивает офицеру стакан с зеленоватой жидкостью.

Старшему лейтенанту остается лишь подчиниться. Он комически разводит руками и берет стакан.

– Пей до дна, пей до дна! – кричат девчонки.

– Ну, девчата, такую присказку в другом случае говорить надо, не к месту это.

– У нас все к месту!

Девушки не хотят отпускать красивого молодого и веселого офицера. Я стою в стороне и хмурюсь: отчего это он так рисуется? Ну, выпил бы стаканчик, девчата и оставили бы его в покое. А то поддразнивает их, да ещё норовит позубоскалить. Наши взгляды встретились. Старший лейтенант сделал совершенно серьезное лицо и невозмутимо заметил:

– Разумеется, приказы надо выполнять и относиться к ним следует со всей серьезностью.

Ого, это уже в мой адрес. Оказывается, он и задеть может, и довольно тонко — не придерешься. Вот и посадил тебя в лужу незнакомый офицер, Лилянка. Ну что ж, из этой ситуации лучшим средством будет спасение бегством. Но, конечно, не в буквальном смысле бегством – много чести было бы белозубому насмешнику. Я спокойно, с независимым видом, показала спину. Что мне до этого офицера? Мало ли их каждый день болтается у нас в медсанбате?

На следующий день я дежурила с утра на «витаминной фабрике». Не скажу, что с великой радостью сидела я у амбарчика и разливала «напиток» по термосам. Работа казалась мне слишком уж легкой и нестоящей после всего, что пришлось делать на фронте. И кроме того, я, как и некоторые у нас в медсанбате, иронически относилась к нашему «производству». Но приказ есть приказ. Я была недовольна собой, чувствовала себя задетой словами вчерашнего белозубого офицера. А почему это, собственно, я вспомнила о нем? Красивые зубы. Ну и что? И все-

таки, здорово он меня отделал. За один мой хмурый взгляд такая тирада. Неплохо! Давненько не приходилось тебе, Лиляна Орлович, получать таких выволочек. Все улыбаются тебе, как правило, поддакивают. (Я имею в виду сильную половину рода человеческого, точнее, тех его представителей, с которыми сталкивает жизнь), а этот… И как тонко взгрел, не подкопаешься. Вот и внешность не помогла тебе, Лилянка. Выставил ханжой, высмеял – и был таков.

Значит, мало быть смазливой. О своей внешности разные приятные слова стала я слышать в старших классах средней школы. Правда, мама моя постоянно «проводила со мной воспитательную работу» на тему: не родись пригож, а родись счастлив да умен. Ту же линию, но много тоньше, вела Валентина. Так что я не привыкла задирать нос. И потом, собственное лицо как-то примелькалось мне, что ли, и я сама никогда не находила в своей внешности ничего особенного. Никогда по-настоящему, откровенно говоря, не задумывалась, какая я. Мне просто приятно было сознавать, что когда я где появлялась, молодые парни поглядывали в мою сторону. Это было приятно. Даже привыкать я стала к этому. Но я всегда помнила тонкие намеки Валентины по этому поводу и старалась, чтобы меня провожали не «по одежке». А тот офицер с красивыми зубами просто задел меня.

Ну ладно, не заметил бы – и только. Что в том? А то шпильку запустил. И главное – за ханжу меня принял, за тупое бревно… И кто он такой, тот насмешник? Постой-постой… А ведь ты, Лиляна, видела его раньше. Помнишь, когда из балки Долгой ходили на инструктаж агитаторов в политотдел? Аркадий Петрович и фамилию его называл, да только забыла я ее. А работает он в политотделе.

– Вы всегда такая строгая, Лиляна Орлович?

Я подняла глаза и совсем не удивилась. Бывает, ну шел человек мимо… Стоит рядом и снова демонстрирует свои ровные ослепительной чистоты зубы. Задавака.

– Нет, не всегда и не со всеми, – равнодушно ответила я, а

сама искала, что бы такое сказать, чтоб взять реванш за вчерашнее поражение.

Я подчеркнуто дисциплинированно вскочила и отрапортовала:

– Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант.

Здорово! Он чуть покраснел, этот офицер. Но не растерялся, как сказала бы Клава.

– Ну что ж, давайте ваше зелье. Раз медицина приказывает, надо слушаться.

– А вам в политотдел разве не доставили сегодня хвойный экстракт? – говорила я нарочито нудно и безразлично.

– Почему же, доставили, – в тон мне отвечал офицер. – Только я рано ушел по подразделениям, а не выполнить приказа не осмелился.

Он снова издевался надо мной, этот белозубый. Ну хорошо!

Я с подчеркнутой готовностью принесла наполненный стакан. Старший лейтенант выпил, чуть поморщился, но уходить не собирался. Он уселся на лавочке, но не пригласил меня сесть. Не могла же я плюхнуться рядом, а без спроса или без разрешения старшего уходить не позволяла мне дисциплина. А спросить разрешение уйти не позволяла… девичья гордость. Стою, молчу, злюсь на себя и на незнакомого офицера. Что мне остается, как потихоньку разглядывать его? Ничего особенного. Крепкий. Высокой, светловолосый. В новеньких погонах. На груди два ордена – Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. Значит, хлебнул и лиха, бывал в боях, не отсиживался у себя во втором эшелоне. Это плюс ему. Да и внешне он, ничего не скажешь, видный собой. Не зря же вчера вытанцовывали перед ним медсанбатовские девчонки во главе с самой Наденькой Волковой.

Старший лейтенант широко улыбнулся мне и встал:

– Ну что ж, давайте познакомимся, Лиляна Орлович, – и протянул мне руку.

– А это что же, обязательно? Да и вы уже знаете мое имя.

– Может быть, и обязательно.

Он чуть пожал мою шершавую ладошку. Руки у него мягкие – не приходится им иметь дело с сосновыми ветками.

– Геннадий Козырев, – отрекомендовался он. Помощник начальника политотдела по комсомолу.

– Лиляна Орлович – санитарка, – вызывающе ответила я.

– Знаю, – не принял вызова Козырев. – И что санитарка, успел сообразить.

– И что же?

– Пока ничего, – окончательно гасит «мой петушиный гребень» Геннадий. – До свидания, Лиляна Орлович.

Я проследила за ним глазами, пока он скрылся за поворотом. И… рассердилась на себя. Ну что стоило тебе, Лилянка, по-хорошему поговорить с человеком. Просто, как говоришь ты с другими. Так нет же! Какой-то неверный тон, в чем-то посчитала себя задетой. А на что жаловаться тебе? Самое главное, что этот Козырев сочтет тебя пустой кривлякой или тупицей. Хорошо? Ну почему ты так вела себя, а? Лилянка? Знаешь, почему? Ты проста «начинаешь оттаивать» после горя своего. Весь твой тон, твое поведение, не что иное, как… Обыкновенное женское кокетство. Да-да. А хорошо ли это – кокетство?

С того дня Геннадий Козырев повадился к нам в медсанбат, точнее, на «фабрику витаминов». Придет и шутливо попросит выпить стаканчик. В иной раз нарочно скажу:

– Нет сегодня экстракта, товарищ старший лейтенант.

– Плохо, значит, работаете, – полушутя-полусерьезно ответит он.

– Ну, раз пришли, найду каких-нибудь остатков. На донышке есть немного.

– Придется довольствоваться и остатками – раз медицина повелевает.

Девчонки заметили это, и ну – смеяться. Вот, мол, приворожила парня – готов даже осадок из этой настойки пить, лишь бы стакан был из Лилянкиных рук. Я сердилась и на девчат, и

на Козырева. Ну что ему от меня надо? Оказывается, любопытный офицер успел узнать, как я работаю, и про Колю, и о том, что о маме уже около двух лет не знаю ничего.

Как-то я насмешливо спросила старшего лейтенанта, откуда у него столь исчерпывающие сведения о моей персоне. Он скромно ответил:

– Я партийный работник как-никак.

– Комсомольский, – уточнила я.

– Совершенно верно: комсомольский, – поспешно согласился он и посмотрел на меня ласковыми глазами.

А девчата все донимали меня: какого, мол, принца еще тебе, Лиляна? Козырев – «парень что надо» – не нахал, не юбочник, заслуженный офицер, и влюбился так, что за версту видно.

– Весна, молодость. Пришла пора ему влюбляться, – неизменно хмуро отвечала я.

Мне было досадно на себя – случилась же такая минута и со мной, когда не безразличным показалось мне внимание этого человека. Но это была только маленькая мгновенная вспышка, потом все прошло. Чудные девчонки. Зачем мне этот Козырев? Пусть он очень даже хороший парень, пусть – совершенно такой, каким рисуют его наши медсанбатовские девчата. Что из того? Разве можно вот так просто – взять и забыть Колю? Да и зачем мне забивать себе голову мыслями о случайно встреченном офицере?

У него в тылу, как почти у всякого, своя Лиляна есть. Может быть, он с ней только один раз и потанцевал всего, и провожал ее, может быть, всего один-единственный раз. Расстояние, молодое воображение сделали из заурядной девчонки сказочную принцессу, наделенную такими достоинствами, о которых та, настоящая, реальная девчушка, не имеет никакого представления. Так уж водится. И это очень хорошо, что это так. Вот и у старшего лейтенанта Козырева, может быть, есть тоже такая сказочная принцесса или не сказочная, а настоящая хорошая девушка. Так зачем ему какая-то случайно встреченная на перекрестке военных дорог дивчина, пусть даже и зовется она Лиляной Орлович?

И еще: что-то не верится мне в любовь с первого взгляда. Допускаю, что бывает такое, но не так уж часто, как хотят представить это мои медсанбатовские подружки. Клава уверяет, что влюбилась она в генерал-майора Борисова с первого взгляда. Не скажу я ей этого, но… Какая уж это любовь? Выдумала она своего генерала, придумала. Ведь не знает, какой он человек. Молвой солдатской живет. А ведь бывает и так: на службе, с подчиненными – это одно, а с близкими – другое.

Я не хочу ничего дурного сказать о нашем командире дивизии, потому что… Потому что положено нам думать о нем, как о командире, и не заниматься пустяками! Клава оттого, что нет у нее парня ни здесь, ни на фронте, и в деревне, когда она у себя жила, тоже никого не было, никто не успел поухаживать за Клавдюшкой, и выдумала она эту свою любовь.

А, может быть, и Козырев меня тоже придумал? Он ведь тоже не знает, что я за человек. А я ведь «не сахар». И строптивая, и нерешительная, и противоречивая. Мне самой в себе подчас трудно разобраться, а тут еще малознакомый человек пытается сделать какое-то заключение. Вот Коля – тот, действительно, знал меня. Он умел даже мысли мои читать. Но… Никогда, видно, не встретить мне такого человека, каким был Коля. А Генка… Генка Козырев… Может быть, он *просто так*… И у него в тылу, как у капитана Тимофеева, даже жена есть?

Девчонки утверждают, что по совершенно достоверным данным установлено, что старший лейтенант один как перст. Ну что ж. Пусть будет так. Все равно – не могу…

Девчонки твердят: не упускай своего счастья! Пробросаешься. Ну что ж. Может быть, они и правы. Но ведь и сердце свое тоже спросить надо. А оно молчит.

Любовь… Хороша она своей непохожестью ни на какие другие чувства. И у каждой пары – она особенная, неповторимая. Если это *любовь*, конечно. Если любовь…

Как-то вечером иду я по исковерканному войной саду.

Радуюсь, что молодые яблоньки не поддались военному шквалу, выстояли и собираются снова зацвести. Я облюбовала одно деревце и каждый вечер перед самым отбоем прихожу посмотреть, как розоватые плотные бутоны начинают становиться нежно-белыми цветами. Это стало моей привычкой – посмотреть на это чудо, чуть коснуться ладонью молодого ствола перенесшей страшную грозу яблоньки, постараться заметить, как распускаются нежные листья. Это успокаивало, баюкало взвинченные нервы и обещало что-то очень хорошее впереди.

У самого ствола моей яблоньки совсем недавно какой-то умник вырыл небольшую ямку. Кому и зачем это понадобилось, мне трудно было понять. Война ушла отсюда – зачем же портить сад? Я решила, что лучше будет, если ямку ту зарыть. Задумано – сделано! Когда я усиленно работала лопатой, мимо меня, приглушенно о чем-то разговаривая, прошли| Далибов и Ася. Когда работа моя была закончена, я снова увидела нашу комиссаршу. На глазах у нее стояли слезы, и у нее был такой растерянный вид, словно попала она под артобстрел и не может никуда укрыться. Как только Ася поравнялась со мной, лицо ее сразу обрело обычное комиссарское спокойствие. Но деланная эта мина, видимо, давалась ей нелегко.

– Лилянка, ты что здесь делаешь? – спросила Ася, стараясь придать лицу своему деловитое выражение.

– Вот ямку под яблонькой зарыла. Корни могут повредиться.

– Кто это приказал тебе? – пожалела меня Ася.

– Никто. Сама.

Комиссарша удивленно взглянула на меня и в недоумении покачала головой:

– Чудная ты, – искренне сказала она, – не пойму я тебя никак.

Я промолчала. Это ты чудная, комиссарша. Кто и когда умел сразу узнавать человека, особенно если недосуг к этому человеку приглядеться пристально? Я ведь, в основном, хожу «в благополучных». Откуда тебе знать меня, если ты занимаешься с теми, кто «отклоняется от нормы»?

Но отчего ты не уходишь, Ася? Почему стоишь ты, переминаясь с ноги на ногу, и не заметила даже, что твои хромовые, вычищенные до блеска сапожки добросовестно утаптывают землю над только что зарытой ямкой у моей яблоньки?

А с Аськой произошло неожиданное. Она опустилась на ярко зеленую нежную травку и заскребла по ней руками. Лица ее мне не было видно, но я чувствовала, что оно такое же, как тогда, когда она только что подошла ко мне, после разговора с Далибовым.

Я стояла в нерешительности. Но когда Аська с надрывом заплакала и ничком уткнулась в траву, я бросилась к ней, пытаясь приподнять за плечи. Какая уж тут субординация? Просто плакала девчонка, попавшая в беду, и разве можно было не утешить ее, сделать вид, что тебя, рядовой санитарки, не касается, что там переживает твой офицер, что у него там за личные трагедии.

– Ася, Асенька, что случилось? – тормошила я ее.

Аська, видимо, борясь с собой, всхлипнула, а затем торопливо стала шарить в кармане своей гимнастерки. Она вытащила небольшой бинтик, заменявший носовой платок, и вытерла им свои заплаканные глаза. Я села рядом.

– Если нельзя говорить, то…

– Можно уже! Полмедсанбата теперь знают, наверное, мой секрет, – всхлипнула Ася.

Я сразу догадалась, о чем был разговор у нее с Далибовым, и мне горько стало оттого, что Аська готова была искалечить себя, только бы никто не узнал, только бы остаться вместе с начхимом Ромочкой…

– Что же мне делать, что? – думала вслух Ася.

– То, что советует доктор Далибов.

Ася вскочила на ноги.

– А ты откуда знаешь?

– Если тебе не хочется разговаривать со мной на эту тему, будем считать, что я ничего не знаю, – сухо ответила я. – А если ты, Ася, веришь мне…

– Верю. Но откуда ты узнала, от девчонок? – испугалась Ася. –

Я же никому ни одного слова…

– Никто и не знает, успокойся, Ася. Дело в том, что я совершенно случайно оказалась третьей при вашем разговоре с капитаном, в «витаминной».

– Где же ты была?

– В кладовке. И никак не могла выбраться оттуда. Чувствовала, что тебе, а не капитану Тимофееву, нужен был тот разговор. Появись я, он бы ушел.

– Это ты верно заметила: испарился бы, – согласилась Ася. Она снова присела рядом со мной и снова всхлипнула:

– Что же мне делать?

– В таких делах трудно давать советы, но мне кажется, что доктор Далибов, серьезный человек, советовал тебе правильно.

– И откуда ты взяла, что он советовал что-то? Все дело в том, что он ничего не советовал. Говорит, пусть, мол, останется все как есть. А я не могу! Позор-то какой! Сама к чему все беседы сводила? О чистоте, о девичьей гордости толковала… А сама… Позорище!

Ася снова упала на траву и безудержно разрыдалась.

– Ася, Асенька… успокойся, – уговаривала я ее. – Никакого позора здесь нет. А капитан Тимофеев… Зря ты поверила ему. Прости меня, плохой он человек. И… и не любит тебя, вот в чем дело.

Ася вздрогнула, как от удара, но не возразила. Потом, немного успокоившись, подняла заплаканное лицо.

– Лилянка! Я верю тебе! Я все-все тебе расскажу, горячо зашептала она, приблизившись ко мне. Недавно такие веселые лучистые голубые глаза ее смотрели теперь решительно, и столько в них было боли, что я тихонько погладила мокрую от слез Аськину щеку. А она, глотая слова, захлебываясь от слез, рассказывала мне, как начинался их роман еще в Подмосковье, когда дивизия была на формировании, и как продолжался он под Сталинградом – в балке Долгой, на хуторе Вертячем, на станции Гумрак – везде, где дислоцировался второй эшелон нашей дивизии. Потом она сердито стала пересказывать разговор с Далибовым. И я

представила себе этот диалог до того ясно, словно была с ними и все слышала сама.

АСЯ: Так что же мне делать, доктор Далибов?

ДАЛИБОВ: То, что делают все в вашем положении.

АСЯ: Но я не могу! Я же комсомольский работник…

ДАЛИБОВ: Ну что ж из того, Ася? И комсомольские работники бывают матерями.

АСЯ: Но что скажут девушки? Вы понимаете, это же пятно на весь коллектив, тень на всех женщин медсанбата.

ДАЛИБОВ: Не делайте из этого политических выводов. Никаких ни теней, ни пятен я здесь не усматриваю. Все естественно. Больше того: нарушать законы нельзя нигде, а в армии – тем более.

АСЯ: У вас нет сердца, доктор. Вы просто не хотите мне помочь.

ДАЛИБОВ: Да. В этом деле не хочу.

АСЯ: И вам не жалко меня?

ДАЛИБОВ: Товарищ Кузнецова, вы очень непоследовательны. То говорите как комсомольский работник и подчеркиваете, что ваше положение, ваша работа не позволяют вам в настоящее время становиться матерью. То вдруг становитесь, простите меня, обыкновенной девчонкой и трусливо спрашиваете: жалко ли мне вас?

АСЯ: Но, доктор…

ДАЛИБОВ: Да, мне вас по-человечески жалко. Вы достойны хорошей, настоящей любви. Хотелось бы, чтоб у вас была семья. Хотелось бы, чтоб у вас был муж, и не этот прощелыга-красавчик (видел я вас с ним) был отцом вашего первого ребенка. Но когда вы выбирали вашего капитана, ни у кого, кроме своего сердца, не спрашивали совета. И правильно сделали! За любовь я вас не осуждаю. Но очень жаль, что так получилось. И еще по одной причине не буду вам помогать: из медицинских соображений! Вы же понимаете, к чему может все это привести. Сделать вас на всю жизнь калекой… Нет уж, увольте. А теперь судите сами – жалко

мне вас или нет.

Когда Ася закончила свой сбивчивый путаный рассказ, уже стемнело, услыхав сигнал «ко сну», я торопливо схватила свою лопату и помогла подняться Асе. А она, идя рядом, держа меня под руку (совсем не по Уставу!), все время спрашивала:

– Так что же мне делать? Что?!

– Ничего. Все обойдется, – успокаивала я Асю.

– В лесу дров не нашла, – сквозь слезы плакалась она. – Вот и расплачивайся теперь…

Меня покоробили ее слова. Она же знала, что капитан Тимофеев женат. А, может быть, и не знала сразу, и когда ей все стало известно, то было уже поздно. Так тоже бывает.

– Девочки! Новость: Аську-комиссаршу выгнали из комсоргов! – сообщила нам с Надей Клава во время дежурства.

– И зря, – ответила Надя.

– А ты знаешь, почему ее сняли? – не унималась Клава.

– Знаю. Сарафанное радио уже сообщило, – отозвалась Надя.

– Ну и в комсоргах ей никак нельзя было оставаться, – упрямо возразила Клава. – Стала бы распекать таких, как Танька, а они в ответ: на себя обернись! Как тогда?

– Ну, Асю с Танькой, допустим, сравнивать нельзя, – вмешалась я в разговор.

– Не спорю! Танька… Девочки, а ее знаете, как мужчины между собой шепотом называют, – заблестела глазами Клава: – Сосуд… А что в этом прозвище такого, чтоб шепотом говорить, не знаю…

– И хорошо, что не знаешь, – усмехнулась Надя.

– Ладно! Пусть Таньку и Аську равнять нельзя, а результат-то? Результат – один! – не унималась Клава.

– Не один результат, глупенькая, – отозвалась Надя. – Разница в том, что у таких, как Танька, как правило детей не бывает, а Ася… Ася – порядочная! Да разве поймешь ты, влюбленная в генерала, что любовь – это не мечты на расстоянии. Любовь…

– Знаю, – грубо оборвала Клава, – и когда расстояние сокращается, то беда бывает…

– Клавдия, перестань говорить пошлости! – строго прикрикнула я. – И не стыдно тебе?

Но Клава не хотела слушать ни Надю, ни меня. Она закусила удила:

– Мы зачем сюда приехали? – горячилась она. – Из-под пушек гонять лягушек? Или работать в санбате, воевать? И так чего только ни говорят про нашу сестру. Всех нас боевыми подругами кличут.

– А разве это плохо? – вызывающе встряхнув выбеленными кудрями, спросила Надя.

– Не притворяйся дурочкой! Ты знаешь, в каких смыслах я говорю, – зачастила Клава.

Что ж, что правда, то правда. Горько было нам, что по поведению одной Татьяны судили обо всех нас. В этом с Клавой можно было согласиться. Она, Клава, боролась и за свою честь, и за честь тех, кто был рядом с ней.

Известно, что большой поток, вместе с чистой водой – чистой на глубине, на середине – несет иногда по краям своим грязную пену. Так эта грязь – только на мелком месте. А весь поток – чистый. Так-то…

Поговорили мы с Леной Федоровой о любви. Рассказала я ей Асину историю и о Таньке рассказала.

– Ну как, товарищ начальник, правильно рассуждаю?– спрашиваю я ее.

Она долго молчит, повернув в мою сторону лицо с бинтами на незрячих глазах. А потом решительно отвечает:

– Конечно, правильно! И у нас тоже попадались иногда «общие девочки». Но остальные-то, большинство, были настоящие. Это – правда.

– Да… Но все-таки судят подчас обо всех, – возразила я, вспомнив Клавины доводы.

– Ну что ж, – спокойно ответила Лена. – Судит тот, кто сам не прочь погрешить. Таким пошлякам даже трудно представить себе, что в полевых условиях, где мужчинам и женщинам приходится жить рядом, не бывает распутства. Им трудно понять, что там подчас расцветает такая любовь, что огонь ее ярче всех описанных классиками примеров. Но пусть их... Пусть думают, что хотят.

Глава 14
…И без любви нельзя…

Снова наступили фронтовые будни с их постоянными неожиданностями, с постоянной мыслью: «если выживу сегодня, то…» – то тогда можно будет загадать самое скромное желание. И вообще, мало мы на фронте употребляли глаголы будущего времени. Суеверие какое-то было, что ли – вслух не загадывать, а то – не сбудется. Но каждый мечтал о будущем, и каждый за него, за это будущее, боролся.

Наша дивизия уже воевала под Белгородом. С тяжелыми боями продвигались мы вперед по разъезженным и растоптанным проселочным дорогам. Всюду вдоль нашего пути валялось то, что в спешке не увез или не успел увезти враг. Обгорелые кузова грузовиков (противник поджег машины при отступлении), подбитые орудия. Где-нибудь на пригорке виднелся вражеский танк с уже не страшным крестом. По обочинам дорог – брошенные автоматы и россыпь патронов – поблескивает латунь в зелени травы, и неподалеку от уже ненужного противнику металла – вздувшиеся трупы животных. Это враг расстрелял целое стадо коров, которых не сумел угнать. Ничего и никого не жалели оккупанты. И жителей этих пылающих деревень, в которые мы входили, тоже угоняли с собой фашисты.

Мы въезжали в деревни, от которых оставались только название, печные трубы да дымящиеся пепелища. Какой-нибудь необстрелянный молоденький лейтенант, сверяя карту, лежащую в его новеньком планшете, с местностью, растерянно ищет *населенной пункт* и не находит его. От волнения он сразу не может сообразить, что одинокие черные печные трубы, которые словно калеки с единственной рукой, печально тянутся к небу, и есть та самая деревня, обозначенная на его топографической карте. Горькая улыбка следует за «открытием», и сердце сжимается при мысли о том, что еще сотня-другая людей осталась без крова. И где

они, эти люди?

Глаза уставали от руин, развалин и обгоревших фруктовых садов. Куда ни глянь, везде – черные головешки да крапива, все убито, сожжено, уничтожено. Но это только на первый взгляд. А присмотришься получше и увидишь, что даже здесь под пеплом и руинами продолжается жизнь. Нет, не только искореженные искромсанные деревья тянулись к свету, не только кусты и травы упрямо отстаивали свое право жить. Возрождалось к жизни все живое. Люди – те, которые успели спрятаться от врага, выходили нам навстречу и на освобожденных пепелищах упорно начинали рыть землянки, сооружать шалаши. И часто мы видели такое: еще совсем неподалеку гремят орудия, еще совсем рядом то и дело рвутся шальные снаряды, а бесстрашные деревенские жители уже копошатся у родного пепелища, роются в обгорелой груде домашнего скарба, вытаскивают уцелевшие остовы железных кроватей, находят какие-то не сгоревшие предметы. Они, эти люди, как прогнанные недоброй рукой птицы, снова возвращаются на дорогие для них места и снова, на прежнем месте, стараются свить себе гнездо.

Мы едем вдоль улицы одной такой сожженной деревни. Перед глазами – обычная картина разрушения. Но… Что это? Такого я не видела еще – девчонка-подросток на самодельном каменном жернове растирает зерно. (Возврат к каменным орудиям – вот что приносит война!) Разотрет девочка зерна, из грубого помола муки испекут лепешки. Нет, не хлеб, а именно – лепешки: муки-то только и хватит, чтоб замесить жесткие преснаки. А рядом с девчонкой на обломках чудом уцелевшего забора женщина развешивает белье. И по тому, как бережно касаются ее руки выцветших ветхих тряпок, видно, что для той женщины ее полуистлевшие лохмотья – большая ценность.

Но не всегда же так будет! Закрываю глаза и вижу: прошло совсем немного времени, и изменилось все в этой деревеньке. На месте развалин и мрачных закоптелых одиноких печных труб, на месте крапивы и бурьяна вырастут здесь легкие светлые домики с

большими окнами и заблестят они разноцветными железными крышами. Вырастут пышные густолистые сады. А на берег речонки, где растут большие развесистые ветлы, придут девчата встречаться со своими милыми. Босоногие прыткие мальчишки ранними росными утрами будут в речушке этой сосредоточенно ловить раков и щурят, а когда пригреет солнышко, лягут в густую траву и заглядятся в голубое бездонное спокойное небо, слушая не вой летящих снарядов и бомб, а мирное тарахтенье трактора да урчанье грузовика.

– Эй, Лиляна, приехали!

Это Клава тормошит меня. Я спокойно поглядела на подружку: не признаваться же, что только сейчас заметила уцелевшие несколько домиков среди обгоревших яблонек.

Здесь мы развернем медсанбат. На очень короткое время. Теперь медсанбат не стоит долго на одном месте. Наши войска наступают, противник стремительно катится на запад, но все же огрызается. Наступление тоже не обходится нам без потерь. Но размышлять о новой тактике врага некогда. Торопимся. Бегаем. Готовим помещение своего приемо-сортировочного взвода – скоро начнут поступать раненые. Вот-вот появятся крытые санитарные машины, а потом – и пошло, и пошло. Ненасытный Молох, когда же тебе сломают, наконец, голову?!

Все приготовления закончены. Мы с Клавой выходим из избы. Хочется есть. Остренький курносый Клавин нос старается определить, в какой стороне расположилась наша медсанбатовская кухня.

– Товарищ солдат, не вижу ревностной службы, – изрекает Клава.

– Ты о чем?

– Солдат не должен забывать главную заповедь. Она есть: служба, еда и сон.

– Ну, первую часть этой главной заповеди, допустим, мы выполняем – изба готова для приема раненых, – говорю я. Что же касается еды, то можем и не успеть, особенно, если подойдут сразу

несколько машин.

– То-то же! – поднимает вверх указательный палец моя подружка, – учи вас уму-разуму…

Шутки шутками, но поесть все же надо.

– И где эта кухня запропастилась? Клава, что-то ты сегодня плохо ориентируешься на местности.

Задетая Клава молчит. Она не спеша поводит носом по сторонам. Через несколько минут выражение ее лица меняется:

– Есть! Смотри-ка, Лилянка, вот молодец повар! Вот это дает! – восхищается Клава, – Кашу на марше сварил! Сейчас мы ее отведаем, тепленькую, – скороговоркой добавила она и юркнула в избу.

– Доставай хлеб, Лилянка. Я – живо! – крикнула она уже на ходу и побежала по направлению к кухне, размахивая руками и позванивая котелками.

Несколько минут спустя мы с Клавой уплетаем горячую, сдобренную комбижиром, пшенную кашу. Хорошо разварился концентрат! Что может быть вкуснее пшенной, густо помасленной размазни! Да если ее еще как следует заедать хлебушком… Настоящая фронтовая еда.

– Поторапливайся, Лилянка! Сейчас раненых привезут, как пить дать, – бормочет Клава, торопливо работая ложкой. – Господи, хоть бы поесть как следует успеть.

– Милая моя, медицина учит тридцать три раза прожевать то, что попадает в качестве пищи в твой божественный ротик, – подтруниваю я.

– Не знаю, чему учит медицина, – отзывается Клава, – а вот наиглавнейшего медика уже несет к нам. Лилянка, слышь, на горизонте доктор Далибов собственной персоной. И как только с курса не собьется? И отдыхать ему, бедному, некогда, – сердито тараторит моя подружка.

Ничего не скажешь, Клава права. И, главное, спрятаться некуда. По извечному солдатскому опыту совершенно ясно, что если командир увидел тебя праздным, то, будь спокоен – найдет

для тебя дело. Так не оставит. Медсанбатовский же главный хирург Далибов был просто гениален по части изобретения работы для нас, санитарок. Майор медицинской службы считал себя лично оскорбленным, если ему удавалось заметить, что девчонка-санитарка сидит без дела. Даже если у тебя на коленях котелок, а в руке ложка… Далибов, конечно, обождет, пока ты расправишься со своей кашей, а потом моментально пристроит тебя к какому-нибудь делу. И получится это так, словно специально он тебя разыскивал по всему медсанбату, чтобы отдать приказание. Поэтому совершенно понятно, что проголодавшаяся Клава, увидев Далибова, заметалась, завертела глазами по сторонам, отыскивая надежное убежище. На этот раз я оказалась расторопнее Клавы:

– Вон канавка, – указала я глазами на маленький индивидуальный окопчик, вырытый в саду.

– Дело! – и Клава, подхватив котелок, помчалась к окопчику. Я со своим котелком – за ней. Интересно, заметил ли этот наш маневр доктор Далибов?

В окопчике уселись мы с комфортом. Но Клава и здесь по инерции торопливо глотала свою кашу. В еде, да и в работе – справедливости ради, сказать – за Клавой трудно было угнаться, у меня аппетит был несколько поумереннее. За едой я успевала еще и любоваться ясным украинским утром.

Из-за пригорка медленно выползал красный круг солнца, мягкий свет его гладил искалеченную землю, обнимал росную траву и деревья полуобгоревшего фруктового сада, на которых упрямо и задорно росли крепенькие яблочки-зелепухи. Влажная трава блестела на солнце, переливалась маленькими искорками. Казалось, на обожженную эту землю, на искалеченные сады и вытоптанные травы пришла сама тишина.

Но тишина и спокойствие были совсем непрочными. Прошло всего несколько минут (на войне особый счет времени – на минуты, секунды, мгновения), и спокойствие было смято гулом и грохотом. Где-то забухали тяжелые орудия. Чистое лицо голубого неба вмиг исковеркали белесые оспины разрывов зенитных снарядов. И сразу

пришла тревога – та самая, которая неотступно крадется за каждым на фронте. Кто-то зычным голосом крикнул:

– Воздух!

Побледневшая Клава застыла с ложкой у рта. Обе мы тоскливо посмотрели вверх. Над нами медленно разворачивался бомбардировщик с черными крестами на крыльях. Потом от самолета отделились черные капли бомб и с оглушительным визгом устремились к земле. Попадет или не попадет? После каждого взрыва мы с Клавой плотно прижимались к осыпающимся стенкам нашего окопчика. О чем мы думали в ту пору? Да, наверное, ни о чем. Просто нам было страшно.

Где-то, совсем неподалеку, бахнула бомба – так, что дрогнула земля. И в то же время что-то зашуршало над нашим окопчиком. Не успели мы поднять головы, как на нас свалился… доктор Далибов. Фу, ты! Едва шеи нам не переломал. Что это с ним? Неужели и у нас такие же бесцветные лица? И крупные капли на бледном лбу? И глаза – такие же тусклые, ничего не видящие?

Мы сдвинулись, по возможности освобождая место для доктора. Как же он напуган – его тонкие пальцы заметно дрожат, и зубы выстукивают мелкую дробь.

Минута, другая, третья. Сколько прошло времени – четверть часа или вечность? Самолет был, по-видимому, один – отбомбил и улетел.

Первой пришла в себя Клава. Она деловито задвигала своим котелком, но словно бы поперхнулась. Щеки ее стали заметно наливаться алым цветом, а губы... Вот-вот не сдержится девчонка и прыснет. Чему это она? Доктор Далибов, вопреки традиции, ничего так и не приказав нам, покряхтывая, молча выбирался из окопчика. Клава привстав следила за ним, и как только он отошел на достаточное расстояние, покатилась со смеху.

– Ой, батюшки, ой, умора! – сквозь слезы всхлипывала она.

– Ну чего ты зашлась? – грубо оборвала я подружку. У меня еще не прошел страх после бомбежки, а у Клавы реакция на все была почти мгновенной.

– Ой, батюшки, – стонала Клава. – Ой, помру, – хохотала она.

– Да скажешь ли ты, в чем дело? – сердилась я.

– Доктор Далибов… ха-ха-ха… Он оказался прожорливее меня, – смеялась Клава. – Ты только меня обжорой считаешь…

– Ну что случилось?

– Случилось… Доктор кашу мою… – захлебывалась Клава – Кашу… на руках унес.

– Ну да?!

– Ну да! – передразнила Клава. – Кашка-то тю-тю, – и она снова залилась неудержимым смехом – И как это его угораздило, – сокрушалась она. – Вот и ходи теперь голодная.

Вытирая слезы тыльной стороной ладони, она смешно поглаживала себя по животу, приговаривая:

– Бедный ты мой курсачок, как же ты теперь будешь? Давай, напишем рапорт на доктора Далибова…

Я заглянула в свой котелок:

– Ничего, Клавдюшка, не горюй. На-ка, доешь мою… И не бойся, здесь доктор пробу не снимал. Ко мне вернулась прежняя насмешливость.

– А впрочем, требовать не надо было. У него же стерильные руки, они почище твоей каши.

– Смешочки тебе, – ворчала Клава. – Давай кашу, а то не ровен час еще бомбежка начнется, – снисходительно протягивая руку к моему котелку, говорила она. Но как только пальцы ее коснулись металлической дужки, и котелок был установлен на коленях, к подружке моей вернулся прежний аппетит. Она торопливо стала выскребать из моего котелка уже остывшую кашу, ела и все приговаривала:

– Нет, Орлович, не получается из тебя солдата. Есть не умеешь быстро. Бомбежек боишься.

– А ты будто не боишься?

– Боюсь, – призналась Клава. – Но только, когда я вижу, что кто-нибудь боится больше моего, то мне не так страшно становится.

– Клава! Лиляна! Где вы там? – послышался знакомый контральто Нади. По-видимому, и доктор Далибов обрел уже прежнюю способность находить дела для санитарок. Это он сообщил Наде наши координаты. Он стоял рядом с медсестрой и баском вторил, что, мол, рассиживаться после войны будем.

– Раненых привезли!

Мы выскочили из окопчика и побежали к машинам. Начиналась настоящая работа, которую каждая из нас старалась сделать как можно быстрее и лучше. Люди ведь. Только что вывезенные из-под огня, только-что с поля боя. На грузовиках снова привезли носилочных. Нет, к этому никогда нельзя привыкнуть. Кровь. Кровь. Тяжкий сладковато-приторный валящий с ног запах. Мелькают окровавленные бинты, наспех наложенные шины и лубки. Вокруг стоны, хрип, бред.

Помогаю раненому сойти с машины, а у него вся повязка на голове мокрая от крови. Кровь течет по лицу. Может быть, его нельзя тревожить? Спросить не у кого. Галины Ахметовны нет поблизости, Надя тоже где-то замешкалась. Вон они все, чем-то взволнованы. Чем? Узнаю потом, а сейчас надо спасать человека. И я веду раненого в операционную. Возвращаюсь за следующим и слышу, как надсадно гудит над головой бомбардировщик. Вот разлетались! Рядом ожесточенно бахают зенитки.

– Воздух! – снова слышится чей-то предостерегающий возглас.

Ну что: «воздух!», когда вдоль стены избенки выстроился целый ряд носилок с тяжелоранеными? Они почти все в сознании. Они же *живые люди*. Им ведь намного страшнее, чем каждому из нас. Мы-то можем сорваться с места и бежать в какую-нибудь канаву, в окопчик, прятаться. А они…

Я со всех ног бросаюсь к носилкам. Откуда-то появляется Клава – словно из-под земли выросла.

– Давай в садик, там пушки стояли… Укрытие, – кричит Клава, и мы хватаем носилки (ох, и тяжеленный же раненый!) и тащим в садик. Бегут санитарки и сестры. Мелькают белые халаты.

Скорей! Скорей! Где-то неподалеку ухнула бомба.

– Вот тебе и на… – бормочу я, – подбегая к последним носилкам. Клава замешкалась. Одни только носилки и остались у стенки. К ним бежит и доктор Далибов. Он в забрызганном кровью халате. Уже успел сделать кому-то операцию.

– Понесли! – кричит он мне, бросаясь к раненому.

Но, кажется, мы не успели. Над головой оглушительно воет. Я цепенею.

– Ложись! – только и успевает крикнуть доктор Далибов.

Потом все тонет в грохоте и пыли. Падаю ничком и только чувствую, как комья земли, щепки летят мне на спину. Какое-то время лежу неподвижно, вслушиваюсь, потом начинаю пошевеливать руками, ногами, наконец медленно поворачиваюсь. Не задело! Поднимаю голову. Доктор Далибов плашмя лежит на раненом. Но вот и он поднимается, и я слышу его виноватый голос:

– Не больно? Не ушиб я тебя, браток?

Не слышу, что отвечает раненый, которого хирург прикрыл собой. Только успеваю подумать: а ведь Далибов так боится бомбежки!

Ну, что ж. На этот раз улыбнулось нам счастье. Я подхватываю носилки, и мы вместе с хирургом тащим их в операционную. Вижу только, как напряглись руки Далибова, и халат у доктора пачканный-перепачканный.

– Лиляна, тебя начсандив зовет, – испуганно кричит мне Клава, едва я только поставила носилки.

Зачем я ему понадобилась? Вообще, не очень-то приятно, когда начальство вызывает. Да еще – большое начальство. Доктор Журавлев теперь уже не командир нашего отдельного медико-санитарного батальона, а начальник санитарной службы дивизии – или, как мы сокращенно зовем его, – начсандив.

– Где он? – пытаясь скрыть досаду, спрашиваю я. И где он отсиживался, когда все мы под бомбежкой таскали раненых? Небось, не ухватился за носилки. Как же – начальство в масштабе дивизии! Но как мне пришлось раскаяться в своих скороспелых

подозрениях! До сих пор не могу простить себе, что посмела так подумать тогда. Но где же комбат наш бывший? Вроде не видать его долговязой фигуры.

– Где начсандив?

– Он еще в хирургическом, – бросает Далибов, торопливо стягивая с себя грязный халат. Он торопится, наш главный хирург – у него очень много сегодня дел. Мелькают белые хвостики завязок от халата. Я семеню за врачом, чтобы успеть попасть в хирургическое отделение. А то сейчас подадут на стол очередного раненого, и нельзя будет не только зайти в занавешенный простынями уголок, а даже приоткрыть желтоватую от долгого держания в автоклаве простыню. Начсандив, наверное, напялил стерильный халат и будет присутствовать при интересной операции. Он ведь тоже хирург, наш начсандив. Далибов моет руки перед операцией. Долго трет их щеткой. Медсестра из хирургического осторожно расстилает смятую стерильную простыню на операционном столе, а две санитарки из госпитального несут носилки с прооперированным раненым. Видно, операция была до бомбежки, иначе, когда бы успели так тщательно забинтовать его. Да, но где же начсандив? Носилки поравнялись со мной. Боже мой… Нет, это невероятно! А почему же? Разве начсандив не может оказаться среди раненых, разве его не могут ранить?

– Лиляна…

– Осторожнее, бешеная! – сердито кричит на меня низкорослая девчонка. – Чуть с ног не сбила.

Это я ухватилась за край носилок, едва не опрокинув их. Я подбежала к низкорослой санитарке и взяла у нее одну ручку носилок. Так и понесли мы втроем нашего бывшего комбата.

– Сюда! – крикнула нам Надя.

В садике уже успели поставить маленькую белую палатку. Зачем это? Почему не в госпитальный, если нельзя сразу эвакуировать? И как по этой изрытой индивидуальными окопчиками земле подъедет машина? И к чему эта отдельная

палатка? Вдвоем и то не пройти в узенькую дверцу. Малорослая санитарка перехватила у меня ручки носилок и, согнувшись, полезла в палатку.

– Смертельно… – успела шепнуть мне Надя Волкова.

Согнувшись и отирая пот с красных от натуги лиц, появились в палаточной двери санитарки.

Я только на минутку. Моя смена сейчас. Клава там, поди, рвет и мечет. Надя угадала мои мысли:

– Ты оставайся здесь. Подменим, – шепнула она мне и побежала.

Нагнувшись, я почти вползла в тесную палатку. Наш бывший комбат, доктор Журавлев был в сознании.

– Вот и отвоевался, – проговорил он. Потом помолчал немного и почти спокойно добавил: – И по земле отходил.

Я протестующе замотала головой. Протянула к нему руки, поправила простыню, которой он был накрыт.

– Это точно, Лиляна. Я-то уж знаю.

– И ничего вы не знаете! Доктор Далибов сказал, что жить будете! – вдохновенно врала я. – Помните, в балке Долгой оперировали раненого в живот. Жив остался! Вы же сами тогда о том случае не раз упоминали.

– Бывает, Лиляна.

– И вы жить будете! Доктор Далибов сказал, – отчаянно утверждала я и сама хотела верить своим словам.

– Он всем так говорит, доктор Далибов. Даже мне. Но я ведь и сам – врач… был… – тихо закончил начсандив.

– Не говорите так! – взмолилась я. – Не надо!

Журавлев перевел на меня мутнеющие от острой боли глаза. Ничего не ответил, но и не застонал. Я знала, каких усилий стоило ему не застонать. Боль страшная. Я видела, как мучаются такие раненые, как тяжело они умирают. Но наш бывший комбат закрыл глаза, крепко сжал посиневшие губы и молчал. Я видела, как ему тяжело. Видела по тому, как выступили маленькие капельки пота на его лбу, как судорожно вцепился он побледневшими руками в

край носилок. Человек умирал. Дверца маленькой белой палатки была откинута, и в могильный этот шатер заглядывали травы, и тянулась молодая яблонька, обгоревшая с одного боку, а с другого – гордая крепенькими зелено-красными яблоками.

Мой бывший комбат открыл глаза и смотрит на меня. Какие силы нужны, чтобы выдержать этот взгляд, взгляд обреченного. Не знаю, откуда эти силы взялись у меня. Почему я тогда не сорвалась с места, не закричала, не выбежала из палатки.

Почему не наговорила я тогда доктору Журавлеву разной ненужной словесной шелухи? Как будто жалкий словесный сор может облегчить хоть капельку мучительных мгновений умирающего… А если может? Нет… Разные красивые слова не нужны ему.

Я молча глядела на лицо, такое знакомое, и уже становившееся чужим, потому что оно умирало, это лицо, потому что оно становилось уже похожим на все лица мертвых.

Он очень долго смотрит на меня, мой бывший комбат. О чем он думает в последние свои минуты? Что он хочет сказать? Силы покидают его. Я вижу, как уходит еще одна жизнь – такая прекрасная. Кем бы он мог стать? Хорошим хирургом. Хорошим мужем. Хорошим отцом. Но этого ничего не будет. Кто-то другой, а не он, будет спасать людей, делать замечательные операции. Не будет хирурга Журавлева. Не родятся его дети. Может быть, навсегда останется незамужней та, которая встретилась бы с ним и стала его женой. В полусожженном саду умирает человек, который мог бы принести многим людям счастье. И никто не видит его последних минут. Только я сижу рядом, да яблони-зелепухи глядят со своих веток. Яблони выжили, и будет еще этот сад не один раз в белой кипени цветов. Зацветут еще сады, зацветут. А его больше не будет. Он умрет за то, чтобы другие видели, как зацветут сады…

Он смотрит и смотрит на меня. Что хочет он услышать в последние свои минуты, когда еще не померкло сознание?

Я скажу все, что ему хочется. Да! Скажу любые слова, только пусть ему будет легче. Слышишь, мой бывший комбат, скажу!

Когда-то ты дал мне понять, что я тебе нравлюсь. Я скажу тебе самые хорошие слова любви! Скажу! Такие, каких никогда не слыхал от меня даже Коля Савчук. Они нужны тебе, эти слова? Я буду уверять тебя в своей любви. Скажу все, что ты хочешь. Но я вижу, что слова мои тебе не нужны.

Он смотрит и смотрит на меня. А потом говорит только одно слово. Тихо. Шепотом:

– Спасибо…

Он понял все. Он догадался, о чем я думала. Нет, такому человеку не нужна никакая ложь.

Я тихонько глажу ладонью по его холодеющим щекам. Глаза его мутнеют. Руки свесились с носилок. Тонкие худощавые руки с длинными пальцами, пальцами хирурга. А за брезентовой дверцей маленькой белой походной палатки буйно растут уцелевшие травы, и наливаются соком молодые яблоки.

Умер на войне солдат. Много-много видела я смертей. По-разному умирали люди. Уже здесь, в тыловом госпитале, написала я об этом стихотворение. Правда, оно не совсем о нашем начсандиве, и, вместе с тем – о нем. Стихи ведь никогда не копируют жизнь. Иначе они не были бы стихами.

Луч пляшет светлым зайчиком в углу,
То вдруг потоком хлынет свет в палатку.
Иль щедро стройному сосновому стволу
Подарит светло розовое платье.
А здесь, в бреду, бинты сорвав,
Уже не чувствуя, не видя крови,
Смертельно раненый какие-то слова
Все говорил то нежно, то сурово.
Шептали губы про такую даль,
Куда и стаи птиц не залетали –
Любовь и ненависть, и радость, и печаль
Они живым в наследство оставляли.
На светлой солнечной лесной поляне

Сосна взметнулась памятником ввысь.
Он умер, но всегда остался с нами,
А годы быстрой речкой пронеслись.
Над ним лесные травы шелестели
И распускались яркие цветы.
Он жизнь отдал, чтобы к заветной цели
Скорей пришел сегодня ты.

* * *

Похоронили нашего бывшего комбата мы в том саду, где он умер. Поставили деревянный обелиск с жестяной звездочкой на вершине. Все честь по чести. Спи, начсандив! Оставайся здесь, в этом садочке, в белгородской земле, а нам ехать дальше. Кто знает, что ждет каждого из нас на фронтовой дороге.

Простившись с могилой нашего бывшего комбата, мы с Клавой, спиной друг к другу, долго поправляем ремни и пилотки. Уже стоят груженые-перегруженые наши медсанбатовские машины, уже нетерпеливо фыркают моторы, и девчонки взбираются под брезентовые шатры на мягкие тюки с имуществом.

К нам бежит Галина Ахметовна. Зачем? Она ведь тоже простилась с комбатовой могилой, и мы видели, как она плакала.

– Санитарка Орлович! – официальным голосом говорит она. – Вам приказано с вещами отбыть в штаб дивизии.

Переспрашивать в армии не полагается. Я, конечно, не понимаю, зачем мне в штаб дивизии? И почему с вещами? Я никогда не видела таких холодных глаз у моего командира, у врача Галины Ахметовны. Она, кажется, презирает меня. Но за что?

– Есть, с вещами в штаб дивизии, – механически повторяю я и бегу к машине, на которой находятся мои личные вещи. Машина уже на ходу, дрожит брезент наших крытых «коломбин».

– Клава…

Но и у моей подружки Клавы тоже осуждающий взгляд. Она торопливо, не глядя мне в лицо, почти бросает к моим ногам мой вещмешок и, сопя, карабкается к девчонкам. Я вижу, что сапоги ее,

которые она не успела почему-то вытереть, оставляют на мешках следы. Не понимаю, что с ней случилось – она так заботилась о чистоте нашей поклажи.

– Клава…

Но моя подружка не отвечает. Будто не слышит. Мне не удается даже проститься ни с одной из медсанбатовских девчонок. Машины трогаются, а я остаюсь у глинобитной стенки домика, где размещался наш приемо-сортировочный взвод. Стою, опустив руки. Надела шинель, хотя очень тепло. У ног солдатский сидор. Как добираться до штаба, никто мне не сказал. Ну что ж, действуй, солдат Орлович, ищи транспорт.

Но действовать мне на этот раз не пришлось. Лихо развернувшийся «виллис» заставил меня попятиться. Шофер приветливо распахнул дверцу. Вот, оказывается, и разгадка. Эх, девушки, милые мои медсанбатовские подружки, зря вы подумали…

Я стараюсь не отвечать на расспросы любопытного штабного шофера. У меня гадкое настроение. Горько, что мои товарищи могли хоть на минуту подумать, что я искала способ перейти из медсанбата на другую работу. Конечно, они скоро убедятся, что не по моей инициативе пришлось мне покинуть медсанбат и коллектив, к которому я так привыкла. Пусть не обижается этот разговорчивый штабной шофер – не до рассказов мне, когда так все нехорошо вышло.

Скачет «виллис» по ухабистым дорогам, точно гончая. Мелькают обочины дороги, запыленные кусты, проносятся развалины сельских домиков. А на горизонте уже высятся меловые горы. Белые, точно снегом посыпанные, а вокруг ярко-зеленая трава.

– Тридцать километров до Белгорода, – говорит шофер.

Он явно обижен таким невниманием к себе, считает, видно, меня несусветной гордячкой.

У обочины дороги «голосует» офицер. Шофер останавливает машину, откровенно радуясь новому пассажиру. Да они знакомы! И

я знаю этого старшего лейтенанта. Гена Козырев! Вот что значит расстроиться – даже не обрадовалась встрече со знакомым офицером.

– Лиляна! Какими судьбами? – удивляется Козырев.

– Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Поистине, пути господни неисповедимы, – уклончиво отвечаю я.

Козырев, усаживаясь на заднем сиденье, пытается заглянуть мне в лицо. Он, видимо, понимает, что я огорчена, и что не стоит донимать меня расспросами.

Лицо шофера светлеет – оказывается, и старшему лейтенанту так же повезло с разговорами, как и ему.

Пылит, пылит фронтовая дорога. Противник беспорядочно бьет по ней дальнобойными снарядами. Впереди то и дело поднимаются черные всплески земли и, подобно кипарисам, замирают на миг, а потом, будто нехотя, рассыпаются. Иногда вместо «кипарисов» появляются на дороге пышные черные земляные кусты, «порастут-порастут» какие-то мгновения, а потом медленно оседают.

– Дальнобойными бьет, – бормочет Козырев. – Вот проскочим километра два, тогда безопаснее будет.

– Безопаснее никогда не будет, товарищ старший лейтенант, – возражает шофер. – А небо?

– Ну, небо – всегда небо.

Машину бросает так, что я едва не прикусываю себе язык. Мы обгоняем артиллеристов. Я с любопытством смотрю на пушки с длинными стволами, которые тянут тупорылые американские машины. (Начинают немного помогать, союзнички…) Потом нам встречается пехота.

– Пополнение, – объясняет старший лейтенант. – У околицы притормози, – просит он шофера.

Тот согласно кивает головой и резко тормозит. Я почти падаю вперед.

– Привал, – скалит зубы шофер.

Мы выходим из машины. И снова я вижу колонну бойцов в

новеньких гимнастерках. Все еще один на один воюем мы с фашистами. Когда же, наконец, откроется второй фронт? Реками льется кровь нашего народа. Вон идут… С полной боевой выкладкой солдаты – скатка через плечо, противогаз, винтовка, вещмешок, каска. Попробовали бы так янки, а то машины дадут и считают, что выполнили долг.

– Пополнение из Узбекистана, – объясняет Козырев. – Так что же произошло, Лиляна? Чем вы так озабочены?

– Ничем, – снова не вхожу я в подробности и, чтобы сменить разговор, показываю на бойца в колонне:

– Смотрите!

Смуглолицый солдат заложил за ухо цветок, что-то мурлыкает под нос и «аккомпанирует» на черенке саперной лопатки. А ведь ему скоро в бой…

– Здравия желаю, товарищ поручик!

Это – к Козыреву. Согнутый старик старается стать «во фрунт», но это у него не получается. Видно, давненько был солдатом дедушка.

– А почему вы меня так называете, папаша?

– По-старому. Смотрю на погоны – раньше точно такие же знаки различия были.

Гена Козырев угощает старого солдата папиросами.

– По коням! – озорно кричит шофер, и мы торопимся к прыгуну-«виллису».

И снова под колесами стелется пыльная и извилистая дорога.

– Здесь был передний край, – тихо говорит Козырев. И по тому, как он произносит это, чувствую каждой клеточкой – здесь делается история…

Поэтому напряженно вглядываюсь я в изрезанный чуть холмистый рельеф местности и успеваю заметить зигзагообразную линию глубоких окопов полного профиля.

Пахнет здесь как-то необычно, не могу только понять – чем.

– Порохом пахнет, – коротко бросает Козырев.

Прыгает по ухабам наш «виллис». И снова на горизонте

полусожженная деревенька. Еще дымятся остатки догорающих домов, мечутся у пепелищ гражданские жители.

– Приехали, – довольным голосом сообщает шофер. Он выскакивает из машины и бежит в крайнюю избу.

Вот теперь можно все выяснить. Любопытных нет рядом. Мы с Козыревым выходим из машины почти одновременно. Он, как галантный кавалер, открывает передо мной дверцу. Я уже твердо уверена, что именно его заботам обязана появлению в этой деревеньке. Конечно, уцелевшая изба – это и ость одно из помещений штаба дивизии.

– Товарищ старший лейтенант, разрешите спросить…

– Что ты так официально, Лиляна, – теплеет взгляд козыревских глаз. – Можно просто: Геннадий.

– Товарищ старший лейтенант, – упрямо повторяю я. – Не вас ли мне благодарить за изменчивость своей военной судьбы? – холодно спрашиваю я.

– Ничего не понимаю, – удивляется Козырев. – И потом… Если бы ты видела сейчас свои глаза, Лиляна… Африку заморозить можно.

– Меня не интересует ни выражение моих глаз, ни температура в Африке. Ответите ли вы, наконец, на мой вопрос?

А, может быть, он и в самом деле ничего не знает? Недоумение на лице Козырева сменяется искренним гневом. Он пристально смотрит на меня. Он о чем-то догадывается. Сколько же разных оттенков в его взгляде – и недоумение, и боль, и сожаление. На лбу появляется глубокая складка. Ему больно и тяжело, когда он, чуть прищурив глаза, твердо отчеканивает:

– Вот что, Орлович, никаких интриг я никогда не затевал, и не в моих правилах вообще что-то кому бы то ни было устраивать. Что же касается вашего приезда сюда, то к этому я не имею ровно никакого отношения.

– А кто же? – растерянно и глупо спрашиваю я.

– Это мне неизвестно, – сухо отвечает Козырев и подносит руку к пилотке. – До свидания.

Выяснила! Поссорилась с хорошим человеком. И что за характер у тебя, Лиляна! Зачем я здесь? По чьему приказанию? Что буду делать? Отчего так сухо говорила со мной на прощанье Галина Ахметовна? Почему отчужденно смотрела Клава, влюбленная в генерала? В генерала… Неужели это по приказанию командира дивизии? Зачем?

Но сколько вопросов я ни ставила бы перед собой, ответить на них была не в состоянии. А ответ был совсем простой. Принес его майор с добродушным лицом, который вышел на крылечко.

– Лиляна Орлович? – спросил он меня.

Я доложила по всей форме – так, как нас когда-то учили во время формирования дивизии, на занятиях по строевой. Майор улыбнулся.

– На машинке печатать умеете?

Вот в чем дело! Да, умею. Когда-то помогала брату, переписывала на машинке его статьи.

Майор, он оказался начальником штаба дивизии, сказал, что я буду работать машинисткой в штабе. И по совместительству – санинструктором, если в этом окажется необходимость. Вот теперь все стало на свои места. И пенять не на кого, кроме как на свой длинный язык, Лиляна Орлович. Где так ты умная – молчишь, слова из тебя не вытянешь, а то разболталась генералу, что когда-то помогала брату. Вот он и вспомнил, что есть, оказывается, машинистка взамен отправленной в тыл. (Прежняя машинистка вышла замуж и ожидала ребенка…) Правда, о ней я узнала несколько позже от Вали, жены начальника штаба.

Добродушный майор пригласил меня в избу. Ступая по выбитому армейскими сапогами глиняному полу, я несмело подошла к деревянному диванчику, когда-то крашеному, а теперь пегому от осыпавшейся краски. Диванчик сиротливо стоял у стенки – тоже когда-то чисто выбеленной, а теперь осыпавшейся. Я присела на этот диванчик и почувствовала себя так же сиротливо и одиноко. Несмело огляделась кругом.

– Располагайтесь, отдохните, а потом поедем дальше, – сказал

майор и вышел. Я успела разглядеть его лицо – доброе и простое со шрамом в виде подковки над бровью. Подковка эта делала взгляд майора чуть удивленным, а лицо – добродушным. Майор Подковка, так назвала я начальника штаба, объяснил мне, что моим непосредственным начальником будет старшина Сомов – наш «завдел», хранитель всей штабной документации. Словом, начальников у меня было теперь более чем достаточно. Но одно только немного скрадывало горечь моего положения, что вместе со штабом дивизии в качестве ординарца находилась жена майора Валя.

Валя оказалась худенькой маленькой женщиной со светлыми жиденькими прямыми волосами. Было в ней что-то такое располагающее, притягивающее, вся она светилась добротой и обаянием, что я сразу потянулась к ней.

Уже в дороге, устроившись среди штабных ящиков и каких-то тюков, притулившись к борту грузовика, вышептывала она мне на ухо, чтоб не слыхали сидевшие неподалеку люди, всю свою нехитрую историю. И главное в ее рассказе было – это встреча с майором. Валя, оказывается, столько пережила, что, когда она рассказывала мне о прошлом, то получалось, будто это не о ней речь, а о ком-то совсем постороннем. Не было у этой маленькой женщины сил снова переживать, снова плакать, не было уже слез. Валя – дочь сельских учителей. Она и еще двое жителей уцелели из всей деревни после того, как их деревенька переходила несколько раз из рук в руки. У развороченной снарядом землянки ее полузасыпанную землей увидел майор Подковка. На руках нес ее несколько километров и петлял по заминированному полю в поисках какого-нибудь лекаря. Как они остались живы – просто чудо! Им разрешили пожениться. Но командир дивизии смотрит на это очень строго и потому майора не представляют пока к очередному званию.

…Все мне было непривычно, и я с трудом осваивалась на новом месте. Правда, видеть я стала значительно больше. В медсанбате перед моими глазами проходили *результаты* боев или

налетов авиации, артиллерийских обстрелов, а здесь я как бы приподнялась (физически!) на одну ступеньку повыше, и горизонт намного расширился. Круг людей, с которыми свели меня военные дороги, тоже стал шире. Конечно, ничегошеньки ни в военной стратегии, ни в военной тактике я не понимала. Мне очень трудно было разобраться и оценить, что к чему. Я только видела то, что можно было увидеть и понять через штабные бумаги. Я чувствовала, что это совсем не просто посылать на верную гибель людей. Как в шахматной игре – жертвовать меньшим, чтобы выиграть в главном.

Но это очень сложная материя, и я просто не подготовлена для того, чтобы рассуждать о столь сложных вещах. Знаний маловато, да и жизненного опыта. Поэтому я и не делаю сейчас никаких заключений. Делать выводы мне сейчас еще не под силу. Легко ошибиться.

Мы часто говорим с Леной о войне, о человеческих жертвах, и я спрашиваю мою подругу, намеком, конечно, все ли правильно из того, что нам с ней пришлось видеть и пережить. И Лена – прямая, откровенная Лена – на мой намек ответила тоже очень туманно. Что не надо об этом сейчас говорить, что мы живем в очень сложное время, и если возникают у нас какие вопросы, то надо набраться терпения – на них ответит история. Главное сейчас – драться за то, чтобы нам *быть*, главное – воевать с врагом, который пришел на нашу землю, а тонкости всякие объяснят нам потом те, кому это положено. Надо быть уверенным, что все, что делается, – так и надо. Я слушала Лену, но в душе не соглашалась с ней. Мне было как-то обидно. Я ведь собираюсь стать историком, – следовательно, уже сейчас, когда происходят грандиозные события, должна видеть многое и *понимать* характер этих событий. Мне казалось, что я не только не в состоянии разобраться во всем, а сама, их участница, тем не менее смотрю в очень узенькую щелочку, и многое из того, что происходит перед моими глазами, понять мне не дано…

Глава 15
Как совершаются подвиги

Лето, но прошел редкий в этих местах крупный холодный дождь. Размыло проселочные украинские дороги – ни пройти, ни проехать. Машины вязнут в черном жидком месиве, колеса погружаются в грязь. То там, то здесь слышится надсадный гул моторов, ругань водителей, и кажется, машины и шоферы выбиваются из последних сил. Да, так оно и есть на самом деле – впереди извилистые версты размешанной грязи и полуразрушенные деревеньки, в которых нельзя разместиться. Они, деревеньки эти, как мираж – только на офицерских картах обозначены, а подойдешь к околице – хорошо если три-четыре уцелевших дома глянут на тебя темными без стекол окнами.

Мы с Валей даже засмеялись от радости, когда увидели, что машины останавливаются у домика с осыпавшейся глиняной стенкой. Какой ни на есть, но все-таки домик – ночлег с крышей над головой. Мы вбежали в пустую хатку. И здесь – обязательный деревянный диванчик, давно не крашеный. И стены такие же, осыпавшиеся, как и в других хатках, и даже следы от рамочек с фотографиями. Пусто только, да мяукает где-то голодная кошка. Ничего, и кошку накормим, как только кухня подъедет.

Через полчаса – в избушке яблоку негде упасть. Но в тесноте – не в обиде. Мы с Валей – в привилегированном положении как представительницы слабого пола – на печке. Ну, это уж совсем роскошно. Тем более что печку уже успели растопить проворные солдаты. Лежим и блаженствуем.

И вдруг: бах-бах-бах!

– Спасайся! Обстрел, – крикнул солдат, заливая огонь в печке. И через минуту нас словно ветром выдуло из хатки.

– Ж-ж-ж-ж… бах! – еще раз, совсем рядом.

– В машину осколки попали, – тихо констатирует какой-то боец, что лежит неподалеку от нас с Валей, втянув голову поглубже

в плечи.

– Это он дым увидел, да искры, мабуть, сыпались, – добавил кто-то.

– Еще раз, гляди-ка, саданет по этому же месту. Печка топится…

– Не каркай, – возразил солдат, что был рядом с нами – Огонь-то я залил…

Когда обстрел кончился, мы установили, что ранен наш «завдел» – старшина Сомов, к которому я только-только начинала привыкать, то есть училась терпеливо выслушивать все его замечания. Я перевязала старшину и поняла, что если он и выживет, то на фронт уже больше не вернется.

Нам срочно приказали перебраться в балку, что рядом с деревенькой, и переночевать там. Кто-то уже успел разузнать, что в балке есть пустые блиндажи, надежные в три наката. Значит, надо двигаться. Кому же охота идти в поле, на ночь глядя? Но приказ есть приказ. Пока собирались, стало совсем темно. Снова хлынул дождь, подул сильный ветер. Словно, глубокая осень пришла.

На горизонте вспыхивали огни ракет. Это противник освещал свой передний край. То с нашей, то с вражеской стороны неслись цепочки огненных пунктиров – летели трассирующие пули. Шла обычная перестрелка, о которой в оперативных сводках Информбюро, как правило, сообщают, что на таком-то фронте ничего существенного не произошло, шли бои местного значения, противник вел ружейно-пулеметный и автоматно-минометный огонь.

Мы топали в балочку, постоянно оглядываясь на запад, где тянулась линия фронта. Курс держали верно и скоро добрались до блиндажей.

– Прибыли к месту дислокации, – по-военному сказала Валя.

Эх, блиндажи-блиндажи… Когда-нибудь после войны придут сюда жители деревеньки, из которой мы только что «передислоцировались», и раскатают по бревнышку этот тройной накат. Перевезут эти «бревнышки» (солидные бревнища) в деревню

и построят из них – не пропадать же добру – что-нибудь вроде птицефермы. И какая-нибудь женщина, глядя, как перевозят эти бревна, вспомнит войну и заголосит в голос: не вернулся у нее сын. А другая молодица, которую прочили погибшему в жены, придет на это место, одинокая, с неустроенной судьбой, да наплачется вволю, чтоб видели ее слезы только поле да небо.

Мы вошли в блиндаж. Здесь уже успели расположиться наши штабники. Света не было. Видно, грузовик с имуществом застрял где-то в грязи или, не приведи господь, заблудился в балке. Мы терпеливо ждали. На фронте чему только не научишься, а терпению – в первую очередь.

Офицеры штаба дивизии потеснились и уступили нам с Валей местечко на земляной скамейке. Кто-то ушел в соседнее отделение, и рядом с Валей уселся майор Подковка, Валя прислонилась к его широкому плечу. Как это хорошо – чувствовать рядом сильное плечо родного человека…

В соседнем отделении раздавался громкий хохот – там был «вагон для курящих». Значит, женщинам туда категорически не рекомендовалась заглядывать.

– Валюша, что с тобой? – заволновался майор.

Я дотронулась до Валиной руки – холодная. Тронула лоб – влажный. В темноте нащупала нашатырный спирт и поднесла к Валиному носу ватку, смоченную острой летучей жидкостью, Валя резко дернула головой. Майор на руках вынес ее из блиндажа. Я беспомощно топталась, не зная, чем помочь.

– Водички бы глоточек, – тихо сказала Валя.

Майор бросился в блиндаж и тотчас же вернулся ни с чем – воды ни у кого не было. Я переступала с ноги на ногу. У меня-то вода *должна была быть*. Я как-никак, а все-таки санинструктор «по-совместительству». Но напрасно я трясла свою фляжку, напрасно сжимала ее суконный чехол – ни капли. Накануне, чтобы идти было полегче, я легкомысленно вылила воду и таскала пустую фляжку.

– Я сейчас, Валечка, – крикнула я и побежала в темноту.

– Может быть, бойца пошлем, Лиляна? – спросил меня вдогонку майор.

– Я сама. Я скоро!

Направление я выбрала правильно и бежала самым коротким путем. Но только набрела на тропинку, которая вела к деревне, как снова полил дождь. Снова поднялся настолько сильный ветер, что прямо с ног валил. Но что поделаешь! За свои ошибки надо самой и расплачиваться. Потому и шлепаю в темноте по грязи. Поскользнулась, чуть не упала – проехала, точно на лыжах, но удержалась все-таки на ногах. Наконец добралась до деревни. Набрать воды было пустяковым делом, и снова – в путь. Валя ждет. Но…

Но Валя так и не дождалась моей воды. Я заблудилась. Вместо того, чтобы идти по тропинке, которая вела в «нашу» балку, я пошла чуть левее. Только и всего. Иду и иду. Темно, ни зги не видать. Чувствую, что-то не то. Страшно стало: а вдруг выйду к противнику, что тогда? Успокаиваю себя: к противнику можно попасть только через свою линию фронта. Значит, не надо этого бояться. Да и фронт-то поблескивает слева. Значит, иду, в основном, правильно. Но почему же нет наших блиндажей? И снова страшно: а что, если противнику «язык» понадобился? От этой мысли стало совсем не по себе. Ну что мне делать? Эх, Лиляна-вояка… И горько мне стало и досадно. Увидел бы меня кто из наших медсанбатовских. Вот была бы потеха! Ну, ладно. Со мной-то, ну шут со мной. А Валя как? Может, умирает. И что с ней такое приключилось? Утешаю себя тем, что пока я блукаю здесь, связисты, конечно же, установили связь. Могут найти транспорт и отправить Валю в медсанбат. Размазня ты, Лиляна… Никто с медсанбатом связи устанавливать не будет. И при чем здесь связь? Вале просто нужен был глоток воды, которой у тебя не оказалось. Да за такое меня… Если бы мужчина такое допустил, в штрафной мало отправить. Неужели и я останусь безнаказанной? Тоже… санинструктор – «по-совместительству»…

Но сколько ни кори себя, сколько ни поноси, ни ругай, а

блиндажей все нет и нет. Только высотка какая-то темнеет перед моим носом. Остановилась. Вглядываюсь. Прислушиваюсь. Кто там, на высотке? Вроде часовой маячит. А чей? Топчусь на месте, осторожно трогаю у пояса трофейный бельгийский браунинг. (Мне не положено носить пистолет, но в штабе дивизии на такие «вольности» смотрят снисходительно). На всякий случай расстегиваю кобуру. Что же мне делать? Подать голос? Нельзя. Ни в коем случае. Стою и не знаю, куда идти? Может быть, теряю драгоценные минуты. Может быть, бежать мне надо со всех ног, а я топчусь, как привязанная телка.

– Кто идет? – строго кричит с высотки часовой. Наш! Кровь прилила к моим вискам, бешено стучит сердце. Наш!

– Кто идет? – строже спрашивает часовой.

– Я… – чуть слышно подаю я голос и не могу больше ничего сказать из-за слез.

– Стой!

– Стою…

Часовой приблизился ко мне на несколько шагов.

– Кто такая? – удивился он, пристально разглядывая меня.

– Доложите командиру.

– Без тебя известно, что делать, – грубо оборвал меня часовой. – Шляются тут… – пробормотал он, но все же спустился на несколько ступенек вниз и постучал в дверь блиндажа. Я ждала.

Прошло около минуты, и кто-то строгим голосом приказал мне следовать за ним. Спотыкаясь, скользя, наступая на полы собственной шинели, спустилась я по земляным ступеням в глубокий блиндаж. За спиной моей – часовой, впереди – тоже кто-то идет. Значит ты арестована, Лиляна Орлович. Так тебе и надо! Погоди, что еще будет тебе за несобранность. Кроме стыда (над тобой теперь все, начиная от офицеров и кончая вестовыми Штабдива, хохотать будут), накажут тебя еще за то, что в чужой части оказалась. Шагай-шагай теперь да не спотыкайся, вояка!

…В блиндаже хозяйственно устроились артиллеристы. Тепло здесь и сухо. Деревянные нары застланы плащ-палатками. В

середине блиндажа установлена жестяная печка. Пар от нее так и пышет. Но не сподручно как-то мне все рассматривать здесь – взгляды всех обитателей блиндажа обращены па меня. Наверное, только на артистов так и смотрят – с острым любопытством и ожиданием чего-то особенного. Передо мной лейтенант с артиллерийскими эмблемами-«пушечками» на погонах. Молоденький такой лейтенант. Рассматривает меня минуту-другую с таким же любопытством, как и его подчиненные. Но потом вдруг спохватывается, что он здесь старший, и что должен проявить бдительность, и что он, хочешь не хочешь, а властен над тобой, Лиляна. Лейтенант-артиллерист, по-видимому, вспоминает обо всем этом, и глаза его становятся строгими, а взгляд – непроницаемым. Слегка охрипшим голосом, но достаточно громко и раздельно, точно командуя, он спрашивает, кто я такая, и просит предъявить документы. Подаю ему свою солдатскую книжку и замечаю, что руки мои предательски дрожат. Ага, трусишь, вояка! Ориентировалась бы получше.

Стараясь говорить поспокойнее, объясняю, как попала к ним. Пытаюсь представить все в комическом свете, но, видно, таланта не хватает. Лицо артиллерийского офицера по-прежнему строго и холодно. В конце рассказа, я чувствую, что жалко улыбаюсь и носком заляпанного грязного сапога рою ямку в земляном полу блиндажа. Мне трудно поднять голову, я смотрю вниз.

– Стойте здесь, – командует мне лейтенант и, подходя к телефону, делает знак одному из солдат:

– Архипыч!

Ко мне медленно приблизился широкоплечий пожилой солдат, усатый, загорелый, спокойный. Он крутит в руках разноцветный трофейный провод, и я угадываю в Архипыче солдата с золотыми руками – из тех, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сидят без дела. На груди у Архипыча Орден Боевого Красного Знамени, и несколько медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги» и за волжские бои.

Лейтенант звонит по телефону. И по тому, как старательно он

докладывает, и по тому, как машинально вытягивается, становясь почти по стойке «смирно», я понимаю, что говорит он с большим штабным начальством. «Есть. Есть. Понял. Будет сделано», – часто повторяет он. На душе у меня становится легче. Все-таки нашим известно, что я не дезертир, и что артиллеристы, по крайней мере, сориентируют меня, в какой стороне искать свои блиндажи.

– Разрешите представиться, – уже шутливо произносит лейтенант, подходя ко мне. – Петров Владимир. – Он щелкает каблуками и «пушечки» на его погонах дружески подмигивают мне: вот, мол, мы какие – умеем быть строгими с неизвестными и совершенно галантными со своими.

Я улыбаюсь и протягиваю руку:

– Лиляна Орлович.

– У такой девушки, как вы, так оно и должно быть – и имя редкое, и фамилия, – торопливо произносит лейтенант и густо краснеет – так неуклюже звучит его комплимент.

Чтобы выручить смущенного офицера, я буднично говорю:

– Вы, видно, не знаете белорусских фамилий. У нас полсела – и все Орловичи. Так что фамилия моя далеко не редкая.

– Зато имя… – оправдывается лейтенант. – Да вы проходите, Лиляна. И как это вас угораздило заблудиться… Ну, ничего. Бывает. Я и сам…, – но лейтенант обрывает себя: не следует незнакомой девушке рассказывать о своих оплошностях и промахах.

Он, этот молодой артиллерист, не знает, как со мной обращаться, куда меня посадить. А мне стало спокойно и чуть смешно. Из разговора лейтенанта с нашими я поняла, что Вале уже лучше и что вода у них есть. Только подсознательно горчинкой стучало: зря старалась, обошлись без тебя. Ну, что ж, бывает.

Меня как почетную гостью посадили у печки и стали наперебой угощать чаем с черными солдатскими сухарями. Обжигаясь, я пью приторно сладкий сахарный сироп. (Кто- то от щедрот своих забухал в мою кружку, по-видимому, целый рацион орудийного расчета. Я подозреваю, что хозяева попивают вместо

чаю горяченькую водичку…) Приходится героически выдерживать это проявление гостеприимства, я даже осмеливаюсь заявить, что люблю такой сладкий чай.

Разговорились. О чем рассказывать здесь, под носом у противника, как не о боях? О чем говорить, как не о событиях, свидетелем которых ты был сам?

Деятельный Архипыч сидел неподалеку от меня и все мастерил что-то из цветной проволоки. Время от времени он нагибался к печке, подбрасывая мелко наколотые дощечки от ящиков из-под снарядов. При этом медали его тоненько позванивали. Я попросила рассказать, за что Архипыч получил орден Красного Знамени. Ожидала, что бывалый солдат преподнесет любопытную цветастую историю. Ну, маленько коли и прибавит, не грех. С героя спишется. Но Архипыч неожиданно для меня серьезно ответил:

– Да ничего особенного не сделал я.

Не скрывая любопытства, я поглядела прямо в лицо солдату: был бы помоложе, так почему не поломаться для форсу, чтоб попросили получше. Но никакой рисовки я не заметила. Архипыч нагнулся к печке, прихватил уголек, покатал его в ладонях, прикурил, а потом не спеша бросил снова тот уголек в печку.

– Да ничего, правду говорю, я не сделал такого, – задумчиво повторил он.

– Но орден… Даром ордена не дают.

– Что ж. Надо было кого-нибудь представить, вот и пал на меня выбор.

– Это не совсем так, Архипыч. Помнится мне… – начал Петров, – рассказывали, как пришлось вам с танком один на один сойтись.

– Да чего там рассказывать, – ответил солдат, обращаясь ко мне, – дело было неподалеку от деревеньки… Забыл я ее название – небольшая такая деревенька. А может быть, до воины и большая она была, кто знает. Теперь бои те называют сражением на Орловско-Курской дуге. Прежде, когда гнали мы немца, все вроде

хорошо было. Постреляем, и вперед. Радостно на душе. А тут огрызаться он стал, зубы казать. Ну, заняли, значит, мы оборону. Замаскировали орудия, боеприпасы подвезли нам. Все честь по чести. Идем. Приготовились. Ночь прошла. Ничего. Ты сама, поди, знаешь, что редко когда ночной бой ведет он, немец-то. А утром, как только рассвело, как ударит! Как пошел шпарить, как начал поливать! Засек он нашу батарею, что ли. Но только утром же двоих из расчета – насмерть. Командира в голову ранило. Сознание он сразу потерял. Гляжу, что же получается – почти каждого, почитай, задело – кто ногу бинтует, кто руку. Никого целого не осталось – всех поранило. Вот поди ты, как оно получилось. Остался я один, да еще… И еще один – легко раненый, в руку его царапнуло. Мог он, конечно, на худой конец и помощником быть.

А он… Вот как иной раз получается. Вроде и бывалый солдат, раненый несколько раз допрежде был. Только ранят его, он полечится в санбате, а потом снова на свою батарею и вертается. Словом, был солдат как солдат. Ничего такого. А тут, что с ним приключилось, и по сей день понять не могу. Как увидел он, что остались мы с ним одни – вдвоем то есть, да как разглядел, что танки двинулись – прямо на нашу батарею курс держат, ну и дал драла. Куда? – кричу я ему, – Вернись, полоумный! Ну, прошу прощения, сгоряча непечатное прибавил, для крепости, значит. Куда там! Ничего не подействовало. Такого стрекача рванул, что и на мотоцикле не догнать…

– И вы стреляли по нему? – спросила я.

Архипыч внимательно посмотрел на меня, чуть заметное осуждение мелькнуло у него в глазах, но он решил не отвлекаться:

– Нет, не стрелял. Не мое это дело – суд вершить. Да и некогда было. Танк-то совсем близко подошел. Грохоту, аж уши болят. Плюнул я себе под ноги, да за снаряд. Благо, что хоть снаряды – вот они. А танк ползет прямо на орудие. Ну, что мне делать? Тоже бежать, как тот?.. Нет, шалишь, не побегу! И, веришь, мысль-то какая была: а не побежать ли? Вот честное слово. Но в последнюю минуту справился я со страхом своим и с орудием тоже один

справился… Прямой наводкой дал по танку! С первого разу не попал, а во второй раз… Ну, сама видишь, жив – значит подбил…

– Страшно было?

– А ты как думаешь? Конечно, страшно. Но и выхода другого не было. Побеги я – каюк мне. Или из пушки расстреляет, или разотрет, только мокрое место останется. Так-то.

– Вот в этом и героизм!

– Какой там героизм? Необходимость, дорогая, необходимость. Я доказывал это самое тут, одному. Приходил шустрый такой из газеты. Говорил я ему, говорил, толковал-толковал. Он слушал, не перебивал, не спорил, а потом такое нагородил в газете, что и читать было совестно. Коли был бы я помоложе, то, право слово, поверил, что я геройская личность. Так там обо всем расписано было. И что я думал, и что проплыло перед моими глазами, и всякое такое.

– Так надо, Архипыч.

– Надо ли, дорогая? Не знаю, мы люди маленькие – нам воевать надо, а задачки эти решать после будем, если до Берлина посчастливится дойти.

– Архипыч у нас особенный, – гордясь товарищем, сказал молодой солдат и с шумом развернул меха гармошки.

Блиндаж показался тесным от песни.

– Постой, – и товарищ его, что сидел рядом с Архипычем, положил руку с потрескавшейся обветренной кожей на тыльной стороне ладони на ребра поющей гармошки. Та жалобно всхлипнула и замолкла.

– Тоже Теркин нашелся. Давай-ка нашу, любимую.

Лицо солдата-гармониста сделалось сосредоточенно грустным. Новая песня полетела над дощатыми нарами, поднялась к бревенчатому накату потолка и забилась-застучала в дверь. Она летала над головами солдат, безжалостно задевая их, хватая за сердце.

И вдруг она замолкла, песня. И никому уже не хотелось ни говорить, ни петь, а просто лучше было помолчать, подумать

каждому о своем, самом заветном. Вспомнить дом с родными березками, околицу села или широкое море золотой пшеницы. Или родной цех, привычный гул заводского двора во время обеденного перерыва, знакомый «голос» станка, к которому привык, как к родному человеку. Или заводской клуб, залитый огнями. Каждому – свое.

Но переменчиво человеческое настроение, как сама жизнь. Помолчали, а потом тоненькими ручейками потекли думки вслух, воспоминания, сомнения, надежды.

– Забыла она, – выдохнул гармонист.

– О чем вы? – робко спросила я и даже рассердилась на себя за бестактность – нельзя же, право, вот так ни с того ни с сего спрашивать у незнакомого человека о сокровенном. Но на фронте свои законы, своя этика. Здесь – можно! Здесь человек, коли поговорил с ним, выкурил папиросу или чайку вместе попил – кунак, друг тебе. Он расскажет тебе о самом сокровенном – такое, о чем бы никогда в другое время не сказал.

– О чем? – переспросил парень. – Да о любви своей.

По лицам его товарищей видела я, что им хорошо известна грустная история гармониста.

– Верой ее зовут. А какая она, к шутам, Вера? Вера – значит верная, преданная. А эта… Прощай, Вася, война продлится еще долго, да и вернешься ли ты. А мне от счастья своего отказываться никак нельзя. Потому и не пиши мне больше, я вышла замуж, – заученно проговорил гармонист.

Что можно сказать в этом случае?

– Эх, все вы, девки, такие! – сердито говорит гармонист.

– Допустим, не все. Немножко и других осталось, – тихо возражаю я.

– Ну, конечно, верочки-уверочки…

– Ты, хлопец, не обижай-ка человека, – заступается за меня Архипыч.

– Я не обижаюсь, – примирительно говорю я. – Разные люди бывают.

– Любимому. Не забывай! Жду тебя, – выкрикивает гармонист и бросает мне на колени карточку.

Ишь, какая остроглазая. На Верку-букашку похожа. Может быть, она?! Такая не растеряется – мигом сообразит, как пристроиться. Верка борковская или нет? А какое это имеет значение, в самом деле?

Лейтенант-артиллерист провожает меня к нашему блиндажу. Это, оказывается, совсем рядом – метров триста всего. Мне стыдно. Лейтенант рассказывает, как он докладывал начальнику штаба дивизии обо мне, и что к телефону подходил еще один командир – с властным голосом. Тот приказал проводить меня до самого блиндажа. Я догадалась, кто это был. Вот стыд-то какой.

Властный голос… Сильный характер. Я видела, как волен он над судьбами людей. Хотелось бы знать, а не страшно ему посылать людей на смерть? Вот глупый вопрос: это же необходимо. Необходимо и… и не страшно? А зачем он приказал взять меня машинисткой в штаб? Каждый день почти вижу я его, но ни разу он со мной не заговорил. Словно меня и нет. Только иной раз чувствую я на себе его взгляд. Не знаю, куда деваться от того взгляда. Он… он очень похож на Колю Савчука… А в центральных газетах упоминают его фамилию. Должно быть, он талантливый военный. Кто знает…

– Разрешите откланяться?

Разве этот артиллерист еще не ушел? Я и не заметила, что он идет рядом.

– До свидания. Спасибо вам.

– Может быть, заблудитесь еще разок к нам? – улыбается артиллерист.